



## НУРАЛИ КАБУЛ НЕБО ТВОЕГО ДЕТСТВА

*Перевод Н. Гацучаева*    Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве,  
И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове.

*С. Есенин*

Я жду не дождусь, когда у Буйнак опять появятся щенки. Бабушка говорит, у собак другой отсчет времени: у людей год, у них — два. Тогда мы с Буйнак одногодки. Мне скоро семь исполнится, а ей, значит, по собачьему счету, четырнадцать? Интересно. В один и тот же год родились, а она вдвое старше. Но мы с ней все равно большие друзья. Друг без друга дня прожить не можем.

Все наши сторожевые собаки — и Актай, и Коктай, и Сиртлан — дети Буйнак. Бывает, передерутся между собой, рычат, кусаются, шерсть клочьями летит, но стоит только появиться Буйнак — тотчас успокаиваются: мать. В такие моменты я ее особенно люблю. И горжусь. Она у нас в самом деле необыкновенная. Ласковая и строгая. И все понимает, только сказать не может.

Обхватчу я Буйнак за шею — и ну барахтаться! Она, конечно, сильнее меня, только никогда этого не покажет. Бывает, в этой смешной возне я оступаюсь, падаю, но еще ни разу не ушибся — Буйнак всегда снизу оказывается, и я валюсь на нее, мягкую и теплую.

Мама в такие минуты никогда не пройдет мимо. Стоит, оставив ведра или веник, долго смотрит на нас, защитив ладонью глаза от солнца.

— Ой, гляди, Нарбута, кто с собакой поведется — щенком станет! — крикнет, а у самой глаза веселые, смеются.

Я про себя думаю: «Ну и что? Чем плохо щенком быть? Это только взрослые считают, что собакам худо живется. А на самом деле наоборот. Гоняй себе целыми днями по лугам, по горам: ничьих упреков не слушай...»

А с недавних пор к нашей компании еще Сиротка прибилась, ягненок. Ее мать, белую овцу, волк задрал в Джидалинской степи. Остался ягненок белый, бредет на тонких ножках, спотыкается, мать зовет. Одно слово — Сиротка. Вот мы и взяли ее к себе. Заботимся, молоком поим, только все равно ей что-то не хватает. Бегаёт, бедняга, целыми днями, блеет, места себе не находит.

Когда отец дома, еще ничего. Он поймает овцу и держит, пока малышка досыта не насосется. А когда отца нет — прямо беда. Маме некогда, мне овцу не удержать. Вот и голодает Сиротка, носится как угорелая, кричит до хрипоты.

А овцам что, у них свои ягнята. Сиротку близко не подпускают: та боднуть норовит, та — лягнуть. И чего они такие вредные?

Я на днях привел Сиротку в загон, где держат овец с ягнятами. Покормить решил. Не помирать же ей с голоду, в самом деле!

Выбрал овцу помирнее, бросился на нее и повис на шее. Остальные овцы шарахнулись в стороны, заблеяли, заметались, пыль клубами взбили, вот-вот загон в щепки разнесут!

Сиротка хоть и мала, а своего не упустит: присосалась к вымени, бедняжка, за уши не оттащить. Овца вырывается, бьется, волочит меня по земле. А шерсть у нее в репьях, колется. Я все лицо себе исцарапал, пыли наглотался, сапог потерял. Но овцу не выпускаю: будь что будет, лишь бы Сиротка наелась.

Потом чувствую — руки занемели, а тут еще одна

из овец от испуга наткнулась на меня со всего разбегу, я и упал, да головой о кормушку ударился. Овце-злодейке только того и надо: изловчилась, отпихнула Сиротку и как боднет!

Вот такие дела.

С тех пор еще сильнее Сиротка к нам привязалась. Куда мы с Буйнак, туда и она. И на Бургуттепе за нами карабкается, и в Тераклисай к Старому Тополю бежит. Было нас трое, стало четверо: Буйнак, я, Сиротка и Старый Тополь. Он стоит на холме над молодой тополиной рощицей, и нет вокруг дерева выше. Посмотришь издали — Старый Тополь похож на чабана с отарой овец. Мы любим посидеть в его тени, длинной и широкой, как дорога. А когда мы уходим, гордый тополь шелестит нам вслед листьями, печально шелестит — прощается...

Каждый год к нам с дальних пастбищ приезжают чабаны — буйнакских щенков просить. Жалуются, что от волков отарам покоя нет. Мы с мамой неохотно со щенками расстаемся, не то что отец. Отец вообще Буйнак не любит, хоть сейчас готов со двора прогнать. И чего он на нее взъелся?.. Сколько лет Буйнак с нами прожила, столько сторожевых собак вырастила, а теперь ей у нас и места нет?

Маму послушать — когда-то в кишлаке собак совсем было мало. Тогда отец и принес домой черного щенка с белым пятном на шее. С тех пор Буйнак (Белошейка) у нас и живет. Отары охраняет, щенят приносит. И каких щенят! Чабаны из-за них чуть не дерутся каждый год. Особенно из-за кобельков.

Отец тогда у старшего чабана Мамадазима пастухом работал. Уж не знаю, чего они там не поделили, из-за чего поссорились, только однажды ввалился к нам пьяный Мамадазим и давай на маму кричать:

— Житья от твоего партизана нет! Во все нос сует, копейки лишней заработать не даст!

После этого отец от него ушел, а на прощанье сказал:

— Голову с тебя снять бы, Мамадазим! Да ладно, сколько лет вместе работали. Но запомни: оплеуха за мной. Придет время, рассчитаемся!

Мамадазим и не пикнул тогда, знал, что у отца характер вспыльчивый, а рука тяжелая. До сих пор, говорят, теряется, когда его встречает. А в тот вечер вернулся отец домой, увидел Буйнак и кричит маме:

— Чтобы глаза мои это мамадазимовское отродье больше не видели!

Мама тогда возразила:

— Собака-то в чем виновата! И Нарбута к ней привязался. Прогоните — горевать будет мальчишка...

Так Буйнак и осталась у него, хотя отец и ее и шенят до сих пор недолюбливает. Нет-нет да и скажет в сердцах:

— Скотина в хозяина не пойдет — подойдет. Что Мамадазим, что его псы — одна порода. Рвачи.

...Отец, как от Мамадазима ушел, сам решил взять отару. Директор совхоза ему и раньше не раз предлагал, но отец отказывался. А тут пришел просить. Директор поначалу заколебался, потом дал согласие, но с условием, что отец с отарой в Джандарлисайском ущелье будет зимовать. Неуютное это место, необжитое. С обеих сторон голые скалы громоздятся, голову закинешь — конца этим скалам не видно, лишь ручеек неба над головой. Да и волков там больше, чем на других зимовьях. Были случаи, не только овец — чабанов задирали серые убийцы.

Мама считает, что директор не случайно туда отца отправил. Думал — испугается, не пойдет. А отец не из таких.

— Ладно, — говорит, — Джандарлисай так Джандарлисай. Не беспокойтесь, все в порядке будет. И план выполним, и отару сохраним...

— План планом, — перебил его директор. — План — закон. Кроме него еще заботы будут. Поручения разные...

Отец насторожился:

— Что-то я не понимаю вас, товарищ директор.

— Не прибедряйся, Джурабай, — усмехнулся тот, а сам отца по плечу похлопывает. — Все отлично понимаешь. Столько лет у Мамадазима в пастухах был! А уж Мамадазим-то, если ему понадобится, звезду с неба без лестницы достанет. Знаешь, как его за глаза зовут?

— Знаю.

— Ну так и не прикидывайся овечкой.

Про Мамадазима всякие слухи ходят. Мол, он верблюда целиком проглотит — и хоть бы хны. Пастухи между собой так его и называют: Мамадазим Хоть Бы Хны.

Мама говорит, отец сразу смекнул, куда директор клонит. Но промолчал — не знал, что ответить. Ну, а директор это по-своему истолковал:

— В общем, я распорядюсь, дадут тебе шестьсот отборных овец. На нынешний год плана по ягнтям устанавливать не будем. Запустишь в отару двадцать племенных баранов, пусть вместе пасутся. Время от времени можешь на люцерники их запускать, только старайся, чтобы не видел никто. Весной больше половины ягнят принесут. А сколько — это мы с тобой знать будем, понял? Если что понадобится, прямо ко мне обращайся, к заведующему фермой не ходи. Договорились?

Отец подумал: «Скажу «нет» — отару не даст». И опять промолчал, хотя в душе, конечно, воспротивился. Отец терпеть не может тех, кто на общественное зарится. Таким людям, говорит он, ни на этом, ни на том свете добра не будет. Они с мамой вечно так говорят, что мне не понять. А объяснять не хотят. Некогда им. Одна бабушка не ленится, все мне объясняет.

Бабушка, хоть и старенькая, многое знает и помнит. Кажется, нет такого на свете, что она не смогла бы объяснить. А как начнет рассказывать старинные предания о дэвах, прекрасных пери да храбрых джигитах — тут только рот открывай. Если вечером бабушку наслушаться — всю ночь будет сниться эта чертовщина...

Бабушка целыми днями шерсть прядет, а мама, когда выдается свободное время, вяжет всякую всячину.

Когда я вижу, как бабушка прядет, мне вспоминается прошлогодний случай на стрижке овец. Тогда мы овец стригли в ущелье Куруксай, что возле Бургуттепе. Отец, как всегда, на подмогу стригалей пригласил, человек десять. Любо-дорого было посмотреть, как они работали: проворно, ловко, весело... Шерсть стригли раскладывали по цветам. Так красивы были на ярко-зеленой траве груды белой, черной, коричневой шерсти! Работая, стригали переговаривались, шутили, напевали, и голоса их мне казались разноцветными нитями, они сплетались в узоры в знойном дрожащем воздухе и тянулись далеко-далеко, к самому концу ущелья, туда, где мерно рокотал Куруксайский водопад...

Я без дела не сидел, помогал ловить овец. Они ко мне привыкли и не боялись, не убегали. Мама стригалам еду готовила. Все были заняты делом, но особенно старался Вали-ака. Загорелый до черноты, маленького роста, неказистый, а шерсти больше всех настригал.

Его ловкие руки с ножницами так и летали над испуганной овцой. На выпуклом лбу блестели крупные, как роса, капли пота. Нравилось мне очень помогать Ва-

ли-ака, я вообще люблю тех, кто с удовольствием работает. Всюду я за ним увязывался, ни одного его слова не пропускал. Может быть, поэтому услышал, как мама, отозвав Вали-ака, негромко сказала:

— У меня к вам просьба, Валиджан-ака. Платок нужно довязать, а шерсти не хватает. Уж вы, как будете стричь вон ту белую овцу, отложите мне шерсти немного, но так, чтоб муж не видел, он этого не любит.

Я ушам своим не поверил. Как же так? Овца-то ведь совхозная! Как же мама может себе шерсть забрать? Да еще тайком от отца. Он бы ей ни за что не разрешил, я его характер знаю. Как-то раз старший чабан из другой отары попросил его овцу поменять. Знаете, что отец ему ответил?

— Вон мои овцы пасутся. Четырнадцать штук. Любую бери. Всех забирай, если надо. А совхозных не трожь. Я человек семейный, дети у меня, за решетку не желаю, понял?

Так и уехал чабан ни с чем на своем стареньком мотоцикле. А отец еще долго возмущался:

— Такие с овец начнут, а там, того гляди, весь совхоз по кирпичику растащат!

Как услышал я мамины слова, голова у меня кругом пошла. Отцу рассказать? Нельзя. Горячий он у нас, вспыхнет, чего доброго, на маму руку поднимет. Не сказал я отцу ничего. Не решился. Но все равно не вышло по-маминому. Она тайком уложила шерсть в ведро и отправилась к роднику, будто бы за водой. А отец, оказывается, все видел. Несколько минут он молча смотрел ей вслед, поигрывая ножницами. Потом позвал меня:

— Пойди, догони маму. Пускай шерсть на место положит.

Неохота мне было бежать за мамой, но что поделаешь — пришлось. Бежал, а сам думал: какой у нас отец умный, не стал при людях маму стыдить. Мама заметила, как я подбегаю, и все поняла. Остановилась, побледнела даже.

— Папа велел, чтобы вы шерсть на место положили! — выговорил я, задыхаясь.

— Ты ему сказал? — спросила мама. У нее дрожали губы.

— Нет, он сам увидел.

— Обеднеет совхоз, если от одной овцы шерсти недосчитается? На, забирай это сокровище! Для

твоего отца и дом — совхоз, и жена — совхоз, и дети — совхоз! Другого такого человека на белом свете нет!

В сердцах она опустила ведро на землю. Я его нехотя взял и так и стоял с ним, а она пошла прочь в сторону кишлака, продолжая что-то бормотать. Я поплелся обратно и, улучив момент, когда возле кучи никого не было, незаметно вывалил в нее шерсть из ведра. Никто не должен был знать о том, что попыталась сделать мама.

Потом я показал отцу пустое ведро. Он молча кивнул и отвернулся, а Вали-ака, наблюдавший за нами, даже пожегился.

Я много думал тогда о маме... Странно получалось, я и осуждал ее, и в то же время жалел. Маме приходилось тяжелее всех. Трудилась она наравне с чабанами. И кроме того, вся работа по дому ложилась на ее плечи. Часто и так бывало: чабаны с отарой ушли, отец уехал по делам в правление, а мы с мамой целыми днями навоз из загонов выгребаем.

В такие дни она не выдерживала. Встанет, обопрется на лопату, вытрет вспотевший лоб рукой и долго смотрит вокруг отчаянно-тоскливыми глазами. Как будто в первый раз видит и наш дом, и загоны, и кряжистую, в три обхвата, старую чинару за дувалом. Я знаю, что сейчас мама станет громко жаловаться на свою судьбу, не люблю я таких минут, сиротливо мне как-то становится и страшно, поэтому я продолжаю молча выгребать навоз, не глядя в мамину сторону.

— Подохнуть лучше, чем так жить! С тех пор как я за твоего отца замуж вышла, по колено в навозе хожу, — начинает причитать она. — Другие пару лет в животноводстве поработают, глядишь — собственная «Волга». А твой отец с малолетства овец пасет, день и ночь, как проклятый, покоя не знает, но не то чтобы машину купить — тархтелку обновить не может. И ту ему Мамадазим Хоть Бы Хны купил. А начну говорить — тут же рот затыкает: «Черный хлеб едим, зато честным трудом добытый». Все кругом жулики, видите ли, один он честный!

Я слушаю маму — она может так причитать долго: благо есть кому слушать, — и мое сердце сжимается от жалости к ней.

Тогда, в Куруксае, отец вечером все-таки не выдержал, спросил:

— Зачем ты это сделала, Нархол? Знаешь ведь, как я к таким вещам отношусь!

— Понадобилась шерсть, вот и взяла, — вспылила мама. — Не нравится — с базара приносили бы!

— Приспичило, значит! Не могла до зимы подождать, когда дел поубавится.

— С вами никогда не поубавится! Ни зимой, ни летом покоя не знаю.

— Да пойми ты, наконец: сегодня за клочком шерсти руку протянешь, завтра за сотню овец придется отвечать. Вам, женщинам, вечно чего-нибудь не хватает. Сыты, одеты, обуты — так нет же, все мало!

Мама сразу же вспыхивает, как всегда, когда ее задевают за живое.

— Смотря чего мало! — бросает она отцу. — Навозу вот очень даже хватает! По горло в навозе живем, да все радуемся, что честно. Оглянитесь вокруг, посмотрите, как люди живут.

— Какое мне дело, кто как живет! Ты еще на городских погляди, на волосатых, сзади посмотришь — мужчину от женщины не отличишь... Правильно дед мой говорил, — царство ему небесное, — человечество к своим истокам возвращается.

— Можно подумать, вы их видели, эти самые истоки!

— Видел не видел, а семилетку за плечами имею. О том, как человек от обезьяны произошел, в пятом классе проходят.

— А я, по-вашему, не училась! Когда учитель объяснял, что человек от обезьяны пошел, никто ему не поверил. Враки все это.

— Вот я и говорю, что вы, женщины, особый народ. Вам одно говоришь, а вы все равно свое повторяете. Тысячи ученых доказали, что человек от обезьяны произошел, а вы...

— Ну, хорошо! Тогда почему остальные обезьяны людьми не становятся? Вон их сколько на земле!

— Значит, это не те обезьяны. А может, и станут еще людьми... потихоньку-полегоньку.

— Ждите, как же! Сколько живу, ни разу не слышала, чтобы обезьяна в человека превратилась.

— Тебя разве переспоришь! Будто мы чем-то лучше обезьян. Те хоть зла никому не причиняют. А людям дай волю — весь мир подожгут.

— А вам волю дай — всех в обезьян превратите.



— Ну, хватит! — рассердился отец. — Кончай болтовню! Ты кого угодно до смерти заговоришь.

Обычно в таких случаях мама замолкала, и спор на этом заканчивался. Но в тот вечер они еще долго разговаривали, а я притворялся спящим и слушал.

— С собаками что-то делать надо, чтоб им пусто было! — сказал отец. — Пастухам казан похлебки варим — и этим тварям казан. Была бы одна или две, а то пять обжор! А оценится Буйнак — ступить негде будет. Придется чабана нанимать, чтоб собак пас.

— У нас Нарбута отлично их пасет, — усмехнулась мама.

— Только этого не хватало — сына собачьим пастухом сделать.

— А он и так день и ночь с собаками. За Буйнак с крыши готов прыгнуть.

— Тебе все шутки. Нарбута этой осенью в школу пойдет. Не избавимся от Буйнак — учиться толком не будет.

— Нарбута отличником станет, — возразила мама и задумчиво добавила: — А насчет собаки, может быть, вы и правы...

Меня будто за горло кто-то схватил, хотелось вскрикнуть, крикнуть: «Нет! Буйнак мне ничуть не помешает!» — и не смог. Долго лежал так, а потом уснул — и всю ночь мне Буйнак снилась...

Мы играем в догонялки в седловине между горами Дульдуюлькия и Ойкар. Бабушка рассказывала, что давным-давно сказочный богатырь Хазрат Али, отправляясь на войну с врагами, взлетал отсюда в небо на своем крылатом коне Дульдудуле. Потому гора так и называется: Дульдуюлькия — Вершина Дульдудуля.

Мой черед убежать. Буйнак догоняет. Конечно, если она захочет, одним прыжком меня догонит. Но тогда какой от игры интерес? И она нарочно то и дело спотыкается, неуклюже падает и катится по склону. Я убегаю зигзагами, чтобы ей труднее было меня поймать. Наконец она прыгает мне под ноги, и я валюсь на нее как подкошенный. Буйнак вскакивает, кладет передние лапы мне на грудь, и глаза ее торжествующе поблескивают: «Ага, попался!»

— Все! Все! Сдаюсь! — кричу я и поднимаю руки. Она радостно взвизгивает.

Потом мы кувыркаемся наперегонки, кто быстрее и

дальше. Она меня догоняет, и тогда я вскакиваю и бегу вперед. Это не по правилам, и Буйнак тотчас прекращает игру. Она останавливается и укоризненно глядит на меня, помаргивая глазами.

Сразу видно, когда она обижается: уши ее обвисают, глаза печально смотрят в одну точку.

В такие минуты я, кажется, читаю ее мысли: «Думаешь, раз я собака, то и считаться со мной не надо? И обманывать можно, и издеваться? Смотри, если и дальше так пойдет, я с тобой дружить перестану. Уйду в лес, проживу как-нибудь одна...»

И мне делается не по себе.

— Прости меня, Буйнак! Ну, пожалуйста, прости! Я больше никогда тебя обманывать не буду, — шепчу я и обнимаю ее за шею.

Она смотрит куда-то вдаль не шевелясь, будто думает о чем-то своем, чего мне не понять никогда. И мне ее жаль. Почему? Сам не знаю. Наверное, потому, что она собака, и жизнь у нее все-таки собачья. Дадут что-то поесть — поест, не дадут — сама должна добывать.

Хорошо, когда отец берет меня с собой отару пасти. Тогда мы с Буйнак день и ночь вместе. Я возьму на изготовку старую палку, которую мне дядя Хамро подарил, и воображаю себя командиром. Буйнак — мой помощник, овцы — солдаты. Стоит мне скомандовать: «Вперед!» — все вперед бросаются.

Отец ночами не спит, отару с места на место перетаскивает, чтобы получше выпасти овец. А мы с Буйнак среди овец играем, следим, чтобы не разбрелись. Устанем — пристроимся где-нибудь за бугорком и в обнимку подремлем. Один спит, другой караулит. Когда отец к нам приближается, Буйнак меня в бок носом толкает, чтобы проснулся. Увидел однажды — меня выругал, а в Буйнак запустил посохом. Она от отца неделю отворачивалась.

И овцы к нам привыкли. Спят с нами рядом. С овцами хорошо лежать — тепло, спокойно. Они так тихо спят, даже дыхания не слышно. Бабушка утверждает, что у всех животных свои духи есть. И у овец тоже. Только я, сколько ни старался, ни разу не видел овечьих духов. Может, они Буйнак боятся?..

На пастбище и Сиротка наша подросла, окрепла. Но обжорой как была — ею и осталась. Наверное, так уж у сирот принято. Кто еще о них позаботится? Когда молодняк клеймили, отец и ей тамгу в ухо продел. Такой

металлический кружок с цифрами посередине, чтобы легче овец распознать, если смешаются с чужими, Сироткин номер легко запомнить — 333...

Часто мы с Буйнак удираем в горы на целый день.

Проголодаемся — сами себе пропитание добываем. Буйнак не хуже кошки горных голубей ловит. Голуби в расщелинах гнездятся, тут она их и подкарауливает. Поймает и ко мне тащит. Мы их на плоских камнях на костре печем. Вначале Буйнак их ела сырыми, а потом раз попробовала — и теперь ей только печеных подавай.

До кишлака далеко. Если рано утром на ишаке выехать, лишь к обеду доберешься. А до Ташкента? Наверное, в десять раз или даже в сто раз дальше... У меня старший брат есть. Он окончил институт, в котором на лесничих учатся, а сейчас в армии служит. Вернется, когда я первый класс окончу, и повезет меня в Ташкент, город показывать. Сам обещал. Я его жду не дождусь. Мама говорит, что он над всеми горами, лесами, медведями, волками, кекликами начальником будет. Вот уж тогда мы с Буйнак заживем! Мы брату всех зверей в горах покажем, все деревья!

А еще у меня сестренка есть, Мутабар. Мы ее Мутти зовем. Никак эта самая Мутти со мной не ладит. Я ей на днях говорю:

— Иди ко мне, Муттиджан, я тебя обниму.

А она:

— Хо-хо! Еще чего не хватало! Ты с Буйнак возишься вечно, от тебя псиной пахнет.

— Счастье твое, что отец с мамой дома, негодница! А то бы я тебе показал «псиной пахнет». Досталось бы твоим козьим завитушкам! — пригрозил я.

Только ее не больно-то испугаешь. Высунула язык, скорчила гримасу и убежала.

В общем, не годится она в товарищи. Ей бы все за мамой бегать да ябедничать. И мне с ней играть, честно говоря, особой охоты нет. Недотрога она и плакса. Толкнешь случайно — в слезы. Не дашь что-нибудь — опять ревет. А мама меня ругает за то, что я ее колочу. Я кричу, что пальцем ее не тронул, все равно ей верят, а мне нет. Я в такие минуты злюсь на Мутти страшно.

Спасибо хоть отец на моей стороне бывает. Как Мутти хныкать начнет, изловит он меня — и ну за уши трепать, будто по правде, а сам понарошку. Я ему подыгрываю, кричу что есть мочи:

— Ой, не надо! Ой, больно!

Мутти злорадствует:

— Что, досталось? То-то же!

А мне смешно. Маленькая она, на нее и обижаться-то всерьез нельзя.

Другое дело — Буйнак. Вот это настоящий друг! Если меня долго нет, она ложится возле двери и лежит, ни на что внимания не обращает. Маме то и дело приходится перешагивать через нее, так что в конце концов она не выдерживает и кричит мне:

— Нарбута! Ступай во двор, негодник! Любимица твоя там все глаза проглядела. Лежит на пороге, как колода, вот-вот споткнешься об нее да шею свернешь!

Мне только этого и надо. Бегу во двор, а Буйнак тут как тут. Бросается ко мне, повизгивает, в глаза заглядывает. Потом срывается с места и мчится к горам, а я за ней. Только разве ее догонишь? Пока я до холма добегу, она уже давно меня ждет. Поднимается на задние лапы, передними в воздухе перебирает, будто бьет в невидимый барабан. Это она меня играть приглашает. Наиграемся всласть, а потом уляжемся на траве и посмотрим в небо.

Я готов день и ночь смотреть, как по небу тянутся облака. Иногда они редкие и маленькие, словно заблудившиеся ягнята, а то сбиваются вместе, и тогда похожи на отару, текущую с гор. Если долго лежать на спине, раскинув руки и глядя вверх, начинает казаться, что это не облака несутся там, высоко-высоко, а ты сам, как птица, раскинув руки, плывешь по синему-синему полю, бесконечному и ласковому, среди доверчивых, как овцы, облаков.

Иногда так дух захватывает, что даже страшно становится, и я тогда крепко обнимаю Буйнак, а она лежит тихо, все понимает.

Удивительно, но Буйнак даже мысли человеческие читать умеет, дурного человека чует издалека. Обычно ее лаять не заставишь, а тут такой концерт закатывает, что в ушах звенит. Я ее прошу:

— Перестань, пожалуйста, пока отец на нас обоих не рассердился.

Тогда она умолкает и плетется к сараю. Ну а если отца нет дома, то она и меня не послушает — никого близко не подпустит.

А двоих она вообще терпеть не может: Мамадазима

Хоть Бы Хны и Кадыркула Насфуруша \*. Прямо-таки растерзать готова обоих. И они ее как огня боятся: зачем пришли, забывают. И знаете, что интересно? Ни тот, ни другой не смеют Буйнак в глаза смотреть! Я этого долго не мог понять, пока бабушка не объяснила.

Оказывается, собаки людей насквозь видят. И что те думают, и что замышляют. И даже то, о чем люди сами еще не догадываются. Так уж они устроены, собаки.

Бабушка говорит: «Возьми, например, Кадыркула Насфуруша. От него за километр насом разит, а слово скажет — и того хуже: смрад сплошной».

Кадыркул Насфуруш и в самом деле дрянной человек. Он тайком в Тераклисае кору с тополей обдирает. Надерет целый мешок и к обеду в наше кочевье является — брюхо набить.

Бабушка рассказывает: он эту кору сжигает, а золу с табаком смешивает. Получается нас — табак, который взрослые кидают под язык. Другие табачники вместо тополиной коры известь используют, поэтому у них нас хуже, чем у Кадыркула.

Может, для кого-то Кадыркул Насфуруш и хорош, а только мы с Буйнак его ненавидим. Сколько он тополей в Тераклисае загубил — подумать страшно! И ведь многие знают, чьих это рук дело. Знают и молчат. Буйнак однажды в роще на него накинулась, хотела проучить. Но он хитрый, с топором не расстался. Чуть насмерть Буйнак не зарубил. Хорошо, я рядом был, крик поднял, он и испугался.

Мы все повадки Кадыркула изучили. Обычно приезжает он в Тераклисай по понедельникам. Ущелье это дикое, птиц, зверей непуганых видимо-невидимо. Кроме нас с Буйнак, там, наверное, и не бывает никто. А теперь вот Кадыркул повадился.

Часто мы забираемся в заросли на гребне горы. Вся лощина отсюда — как на ладони. На отшибе, в стороне, наш любимец Старый Тополь, высокий, гордый, пасет тополиные рощицы. Мне всякий раз страшно делается — вдруг Кадыркул и на него руку поднимет? А что? С него станется!

Не зря ведь Кадыркул людям в глаза смотреть не смеет. Разговаривает, а сам в землю уставится или по

---

\* Насфуруш — торговец насом; нас, насвай — особый вид табака, закладываемого под язык.

сторонам глазами стреляет. Сразу видно, совесть у человека нечиста. Отец говорит, это оттого, что Кадыркул всю жизнь только о деньгах печется.

А бабушка, как увидит Кадыркула, так ворчать начинает:

— Опять пожаловал, проходимец! Чтоб тебя земля проглотила, выжига проклятый!

— Бабушка, а почему он выжига? — спросил я однажды. — Потому, что кору жжет, да?

— Скажешь тоже! — фыркнула бабушка. — Он совесть в себе выжег, вот почему! Видел, какие у него глаза бесстыжие? Всю жизнь ловчит, пролаза несчастный! Он и на войне сам себе руку прострелил, чтобы не воевать. Своими ушами слышала, когда он, пьяный, хвастался. А еще, поди, пособие получает от государства, как инвалид.

После этого разговора я сказал Буйнак:

— Ну, держись теперь, Кадыркул! Еще раз зайвись в Тераклияс, валун на него сверху столкнем.

Буйнак радостно взвизгнула и завиляла хвостом.

Вскоре отец послал нас за овцами на дальнее пастбище. Вовремя послал: они как раз к пшеничному полю дяди Раджаба подбирались. А у него нрав крутой, свяжешься — не рад будешь. Буйнак ткнулась, чтобы отогнать овец подальше от поля. Ну, как тут не удивляться: поняла, что, пока я добегу, овцы уже в поле забредут.

Я прилег на траву и стал наблюдать за Буйнак. И почему она собакой родилась, а не мальчиком! Осенью я в первый класс пойду. Вместе бы в школу ходили, за одной партой сидели бы. Что же теперь с Буйнак станет, кто о ней заботиться будет? У мамы своих дел по горло, она иногда по два-три дня Буйнак кормить забывает... Буйнак умница. Подойдет к столу и глядит как ни в чем не бывало. Я потихоньку ташу с тарелки кусочек хлеба и ей выношу. Однажды отец меня за этим застал. Он, видно, был не в духе, рассердился:

— А ну, положи на место, негодник! Люди за сухую корку жизнь готовы были отдать, а ты хлеб собаке скармливаешь!

Так и осталась Буйнак голодной. Зато на следующий день я чуть свет поднялся, взял с полки лепешку и просунул в щель под дверь, а сам опять лег. Теперь если мама и увидит у Буйнак лепешку, подумает — сама где-то нашла.

Мама очень устает за день — наверное, поэтому часто укоряет меня:

— Ты все с собакой, Нарбута! Помог бы мне, по дому бы что-нибудь сделал!

Я жалею маму, рад ей помочь, да что-то не выходит ничего из этого: возьмусь, например, двор подметать, а Буйнак тут как тут — стоит, смотрит насмешливо, словно говорит: «И охота тебе этой ерундой заниматься! Бежим, Нарбута, заберемся на Дульдуйкию, норы выроем, заживем припеваючи...» Тут уже мне, конечно, не до подметания. Закину веник за сарай и — вдогонку за Буйнаком... Вечером возвращаемся тихие, виноватые, знаем — мама обязательно отцу на меня пожалуется. Хорошо, если он просто отругает. А то бывает и так — махнет рукой и скажет устало:

— Оставь ты его. Все равно человека из него не выйдет. Ему собака дороже, чем родители. Сколько ни говори, все без толку.

И отвернется.

Я тогда забираюсь в постель, уткнувшись лицом в стенку, лежу тихо.

Они думают, что я сплю, а я все слышу.

Мама. Зря вы его так обидели. Маленький он еще.

Отец. Сама же целый день на него жалуешься.

А теперь, оказывается, я ж и виноват.

Мама. Откуда мне было знать, что вы его с землей смешаете!

Отец. С землей, с землей... Ну, одернул мальчишку как следует! Для его же пользы. Детей в строгости надо держать, а не то на шею сядут. Спихватишься, да поздно будет.

Мне становится все обиднее, заглушить всхлипы все труднее, еще минута — и я громко зареву. Но, полагая, что я сплю, отец вдруг полупшепотом заводит с мамой разговор о другом. Я прислушиваюсь и тотчас забываю о своих обидах, лежу, боясь шелохнуться, ведь отец говорит о том, что произошло нынешней весной в Джандарлисайском ущелье...

...Я был в то время с отцом в Джандарлисае. Не раз, должно быть, за зиму отец вспомнил об условии, которое поставил ему директор совхоза, когда давал отару. Отец промолчал тогда, думал, обойдется как-нибудь. И ошибся.

Перезимовала отара в Джандарлисае хорошо. Всех овец уберегли, ни одна не пропала. А весной огласилось

ушелье веселым бляшнем ягнят. Отец с пастухом, дядей Хамро, нарадоваться не могли на молодяк: здоровые, резвые, один к одному. Только рано они радовались. Однажды утром, когда мы с дядей Хамро ягнят подкармливали, а отец на счетах что-то выщелкивал, подкатила откуда ни возьмись новенькая, молочного цвета «Волга». За рулем какой-то гривастый парень сидит, а на заднем сиденье сам директор развалился — здоровенный, толстые щеки лоснятся, внимательные глазки будто выпытывают что-то.

Отец как увидел их — крикнул от досады, счета отбросил, сложил вдвое тетрадку с записями и за голенище сунул. А сам поднялся с кошмы и, подобрав посох, навстречу незванным гостям направился.

— Ассалом алейкум! — приветствовал его директор, вылезая из машины. — Верно сказано: к хорошему человеку аллах сам дорогу укажет. Я подумал: может, вы здесь, велел свернуть, а вы и в самом деле тут.

— Здравствуйте, товарищ директор, — сдержанно поздоровался отец.

Директор выкарабкался из машины и вдруг ни с того ни с сего обнял отца, — у того от неожиданности даже посох из руки выпал.

— Знакомьтесь, — директор подтолкнул к отцу патлатого водителя. — В Ташкенте на юриста учится. Мой младший сын. — Потом подозвал дядю Хамро и что-то ему вполголоса сказал — видно, послал за чем-то. И опять отцу: — Давай, Джурабай, пройдемся. Разговор есть.

Они пошли через луг к саю, а я следом увязался. Сделал вид, что играю, за стрекозами гоняюсь, а сам все слушал. Они шли, долго не начиная разговора. Я видел сзади, какая у отца напряженная спина. Наконец директор похлопал его по плечу и сказал:

— В общем, так, Джурабай, мы с тобой теперь ближе, чем родные, будем. Во втором квартале совхозу двое «Жигулей» выделяют. Одна машина твоя. В передовиках будешь ходить, в газетах о тебе напишут, по радио и телевидению расскажут, уж я позабочусь.

— За «Жигули» спасибо, — сдержанно поблагодарил отец. — А то сейчас, пока на мотоцикле в кишлак съездишь, полдня уходит, да еще пропылишься насквозь, как мельник.

— То-то же. Ну, а теперь к делу. Сколько у тебя овец окотилось?



— Двести с лишним. — Голос у отца изменился, стал таким же напряженным, как спина, как лицо с наспуленными жесткими бровями.

— Тридцать себе оставь, — негромко бросил директор. — Пригодятся, когда машину покупать будешь. А за остальными пришлю.

У меня все похолодело внутри. Неужели согласится? Неужели...

Отец развязал поясной платок и вытер им лицо. Я затаил дыхание.

— Ты что — язык проглотил? Не бойся, если я что-то делаю, — значит, уверен. И тебя в обиду не дам. Учи, не каждому от меня такая милость. Так что пользуйся, надо и тебе когда-нибудь в люди выходить.

— Не могу я, — отец говорил глухо, через силу. — Никогда такими делами не занимался. Не получится.

— А, брось ты! — отмахнулся директор. — Сможешь. Бабы разговоры.

— Нет! Как перед аллахом, говорю: не могу! И не уговаривайте. Вон ягнята — двести пятьдесят штук. Присылайте ревизионную комиссию, пусть по акту примут. А дальше как знаете, так и поступайте.

— А еще мужчиной себя считаешь! — рассердился директор. — Дурака я сваял, что тебе доверился! Знал бы, другого нашел! Тряпка — вот ты кто!

— Не оскорбляйте меня, товарищ директор!

— «Не оскорбляйте...». Да разве ты человек? Человек давно бы сообразил, что к чему, а ты... Ладно. Баранов Мамадазиму передашь. Другую отару примешь. Так уж и быть, возьми себе двадцать ягнят за труды. И — крышка. Чтоб никаких разговоров! Понятно?

— Понятно, — отец выпрямился и посмотрел директору в глаза. — Теперь меня послушайте. Ни одного ягненка никто не получит. Отару Мамадазиму не сдам. Подыщите порядочного человека, а пока что сам буду пасти.

Я почувствовал, что вот-вот задохнусь. Сердце колотилось, словно выпрыгнуть из груди хотело. От запахов трав першило в горле. Скорее бы все кончилось!

— Ого! — Директор от удивления даже попятился. — Вот ты какой, оказывается? На директора голос повышаешь? Жевал-жевал, а теперь выплываешь? Ну нет, братец! Я тебя живо образумлю! Завтра же упеку куда следует! Думаешь, не знаю, как ты триста приبلудных овец в совхозном стаде пасешь?

— Не пугай! Боялись тебя! Думаешь, сам жулик, значит, все жулики? Ошибаешься! Двести ягнят одним махом проглотить задумал? Реза Пехлеви нашелся! Разжирел на краденых харчах, а туда же — пугает.

— А ну, замолчи! Замолчи, говорю! Не хватало мне с такими, как ты, пререкаться!

— А что? Или ты святой? Или рога у тебя есть? Покажи, где они? — Отец уже кричал; мне казалось, его голос разносится по всему ущелью. — Взяточник несчастный! И нечего меня тюрьмой страшать! Я и перед людьми чист, и перед совхозом, и перед государством. Не то что ты!

— Да заткнешься ты, наконец, скотина неграмотная? Чего разорался на всю степь? Заткнись, говорю! — визжал директор. — Замолчи, а не то!..

Но отца уже ничто не могло остановить.

— Неграмотный, говоришь? Может, и так. Зато не вор, не взяточник, не халуга. Ты — грамотный? На каких курсах тебя воровству обучали?! Где?..

Отец не договорил. Директор размахнулся и занес над отцом кулачище.

Солнечный день померк в моих глазах.

— Не смей! — закричал я не своим голосом, бросаюсь к директору. — Не смей бить папу!

Я вцепился в директора, стараясь оттащить его в сторону. Он оскалился и отшвырнул меня, как котенка. Я готов был убить его. Я бы убил его, если б смог. Я кричал, звал на помощь. Никто не слышал моих криков. Небо обрушилось на голову директора совхоза. И когда он торопливо уходил в сторону кочевья, в спину ему светило все то же яркое весеннее солнце, и ветерок, как ни в чем не бывало, посвистывал в стебельках трав.

И тогда я громко заплакал. Давясь слезами и чувствуя, как судорога больно сжимает мне горло, побежал к кочевью, спотыкаясь и падая.

«Волги» уже не было. По дороге, лениво пыля, ехал молоковоз. Я поднял руку. Шофер затормозил, открыл дверцу. Я сказал, что отец послал меня в кишлак по срочному делу. Шофер кивнул, помог мне взобраться на сиденье и захлопнул дверцу. И я уехал в кишлак, к маме. Впервые уехал, не спросившись у отца...

— ...Опять с собаками сражался? Слава богу, хоть не загрызли! А что куртка изорвана — не беда. Отец новую купит, он у нас богач.

Только теперь я увидел, что рукав у куртки порван и еле держится. Проклятый директор!

— Это я случайно. О камень зацепился.

— Не ври. О камень так не порвешь. И когда ты ума наберешься? Все с собаками да с собаками. Того и гляди лаять начнешь!

Я промолчал. Да что я мог сказать в оправдание? Что защищал отца? Нет! Об этом маме нельзя рассказывать. Пусть ругает. Пусть даже побьет — все равно не скажу.

А мама продолжала бушевать:

— Вот-вот. Всегда так: натворит дел, а потом молчит, как каменный, будто не слышит. Ну, погоди, негодник! Вернется отец, я ему все расскажу. А он-то тебе уши прочистит!

Я почувствовал, что по щекам опять побегали слезы.

— Не надо, мама! Пожалуйста, не говорите отцу! Ничего не говорите! — Я не выдержал и разрыдался.

У мамы весь гнев как рукой сняло.

— Что с тобой, сынок? — Она притянула меня к себе и стала испуганно осматривать. — Побили тебя? Собаки покусали? Где? Где больно, сынок?

— Не побили, не покусали... Только отцу ничего не говорите, мамочка... Я вас очень-очень прошу.

— Не скажу, родной. Успокойся. Никому не скажу.

Мама гладила меня по волосам, вытирала слезы, а они все катились и катились, и я ничего не мог с ними поделать.

— Не буду... Никогда больше не буду рвать... одежду...

— Ну, хватит, хватит, сынок. Успокойся. Добра я тебе хочу, понимаешь? Хочу, чтобы ты хорошим человеком вырос. О ком мне еще беспокоиться, как не о детях своих? Кроме вас, у меня никого на свете нет. Родители умерли давно, братья с войны не вернулись... — Мама всхлипнула и приложила платок к глазам. — Хоть бы твой брат скорее из армии пришел. А там и ты подрастешь.

— Я уже и так подрост. Осенью в школу пойду, — сообщил я, чтобы как-то ее успокоить.

— Конечно, пойдешь, сынок. Соседская дочка Латофат обещала книжки принести. А папа сумку тебе из города привезет. Самую красивую. — Мама вздохнула. — Есть хочешь?

Я кивнул. Почувствовал вдруг, что голоден. Мама

намазала маслом кусок лепешки, достала пригоршню парварды \*, высыпала мне в карман.

— Сними куртку, сынок. Я почию. А ты поиграй пока.

«Хорошая у меня мама, — подумал я, выбегая из дома. — Добрая и ласковая. Только притворяется строгой. Я, когда вырасту, обязательно машинку куплю. Посажу маму и повезу далеко-далеко, катать буду, сколько захочет. Платье ей куплю, платков красивых...»

На улице ярко светило солнце. Весело перекликались воробьи в густой листве деревьев. Буйнак выбежала из-за дома, присела на задние лапы и уставилась на меня умными карими глазами, словно спрашивала: «Ну, что случилось? Расскажи...»

Когда Буйнак на меня так смотрит, мне кажется, что она вот-вот заговорит. Но собаки не умеют говорить. А жаль...

— Почему собаки не умеют разговаривать? Ведь язык-то у них есть? — спросил я однажды у бабушки.

— Аллах не наделил их речью.

— Почему нас наделил, а их нет?

— Мы — люди, — ответила она, не выпуская из рук веретена.

— Ну и что? Собаки иногда лучше людей все понимают.

— Все равно они — собаки. Не задавай глупых вопросов, аллах рассердится. Когда вырастешь, сам все поймешь.

Я не стал больше спрашивать. Но бабушка продолжала бормотать себе под нос — думала, наверное, что я ее не слышу.

— Ой-вой, до чего дотошный мальчишка растет! Все ему знать надо. К добру бы это. Сохрани его аллах, сделай так, чтобы голова у него была крепче камня.

Тут я не выдержал и расхохотался. Бабушка испугалась, то ли притворно, то ли всерьез.

— Ох, как ты меня напугал, негодник! Не мальчишка, а наказание одно!

— Почему крепче камня? Потрогайте, вот она какая — теплая, мягкая.

— Ах, шалун, ах, озорник! — качала головой бабушка. — Сейчас же оставь в покое веретено, не то нитку оборвешь. Лучше пойдешь шерсти принеси из кладовки...

---

\* Парварда — вид конфет.

Между прочим, отцу тоже ведомо, какая Буйнак умница. Откуда я знаю? А вот откуда. Он, когда поручает мне что-нибудь, всегда следит, чтобы рядом была Буйнак.

Скажем, всю отару с горного пастбища пригнать. Думаете, это легко? У любого чабана спросите, редко кому потом за пропавшими ягнятами или козами возвращаться не приходится. Но нам с Буйнак—никогда. Я погоняю, а она среди скал рыщет. И всякий раз отара целехонька.

В такие дни все бывают довольны: и отец, и я, и Буйнак. Ей от меня самые лакомые куски достаются, и никто меня за это не ругает.

...По ночам, когда все спят, я люблю слушать, как лает Буйнак. Я даже научился различать ее лай.

Продолжительный, с подвывом означает: «Зря стараетесь, мы не спим!» Это она волков, что по горам бродят, предупреждает.

Негромко, коротко залает — собакам знак подает: «Не дремать, держать ухо востро!»

Громко и часто — знай: волк к отаре крадется.

Яростно, с хрипом — это команда другим собакам: «Вперед, волк рядом!»

А когда она лает сонно, неторопливо, это значит: «Все спокойно; спите на здоровье».

Тогда и я закрываю глаза и зову к себе сон.

Мы взобрались на Дульдуюлькию рано утром, когда в ущелье еще клубились сумерки и только на вершине Старого Тополя играли первые лучи солнца. Рощица угадывалась немного левее смутным темным массивом, оттуда доносился невнятный шум, будто множество людей переговаривались между собой громким шепотом.

Я прилег на остывший за ночь валун, подпер подбородок кулаками и стал смотреть вниз, раздумывая, как отвадить от Тераклияса Кадыркула Насфуруша. Буйнак лежала рядом и тоже глядела вниз, чутко насторожив подрезанные уши. Наверное, и она о Кадыркуле думала.

Обычно он приходит сюда как раз в это время. Забирается в рощицу, облюбовывает деревце, кладет возле него мешковину и достает из хурджуна \* нож. Нож у него особенный — с двумя ручками, я таких ни у кого не видел. Табачник пробует ногтем лезвие и приступает

---

\* Хурджун — перекладной мешок.

к своему черному делу: начинает соскабливать с деревца кору. Скоблит, а сам под нос мурлычет что-то, как бродячий кот над объедками. Мурлыканье слышится то громче, то тише и вдруг замолкает: Кадыркул убедится, что близко никого нет, — и опять за работу.

Если его не остановить, он всю рощицу погубит, деревца после его ножа высыхают. А ему что? Погубит одну рощу — другую найдет.

Неужели он не явится сегодня?.. Внезапно Буйнак навострила уши и вся подобралась. Далеко у входа в ущелье показалась черная точка. Я всмотрелся: человек верхом на осле. Кадыркул? Путник приблизился. Да, это был он, табачник. Въехав в ущелье, он спешился и пошел рядом с ослом, то и дело его подгоняя.

На Кадыркуле был старый засаленный халат без пояса. Поясной платок он обмотал вокруг выцветшей тубетейки, как чалму, свесив конец на ухо. На спине осла покачивался хурджун, покрытый мешковиной. Край мешковины волочился по земле. Возле рощицы осел прибавил шагу.

Буйнак нетерпеливо повизгивала, то и дело оглядываясь на меня. А я все не мог решить, что же нам делать.

— Может, надо было Актая и Коктая взять с собой? — спросил я у собаки.

Она беспокойно забарабанила лапами по камню.

— Понимаешь, ну, сбросим мы отсюда валун, а что толку? Он все равно до Кадыркула не докатится, деревья помешают. Давай-ка подождем лучше.

Я смотрел вниз, в ущелье, и мысли одна мрачнее другой приходили мне в голову. Почему люди не замечают, что творит Кадыркул? Почему не остановят его?

Между тем Кадыркул добрался до рощи, привязал осла к дереву, а сам по склону спустился к роднику. Родник этот считался святым. Он вытекал из-под огромного, похожего на ладонь великана камня и так и назывался: Бешпанджа — Пятерня. Каждой весной здесь собираются жители окрестных кишлаков, чабаны. Расчищают русло родника, ухаживают за деревьями. А потом режут баранов в жертву пророку Али и начинают пир. Бабушка утверждает, что, если не принесешь жертву, родник иссякнет. В последние годы в Бешпандже и в самом деле воды поубавилось. Бабушка говорит, это оттого, что люди здесь водку пьют и оскверняют родник.

Кадыркул сел на камень, разулся и опустил в родник

ноги. Вот скотина! Из этого родника весь кишлак воду пьет, а он в нем ноги моет! Ну, погоди, сейчас мы тебе зададим!

Я вскочил и стал изо всех сил подкатывать камень к краю обрыва. Буйнак мне помогала. Потом мы вместе навалились на камень, он покачнулся и вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее с грохотом понесся вниз, увлекая за собой целую лавину камней.

Кадыркул подпрыгнул, глянул вверх и, оставив у родника сапоги и портянки, босиком помчался к противоположному склону ущелья, потешно перепрыгивая через камни, кусты и промоины. Он то и дело испуганно оглядывался через плечо и что-то кричал, но за грохотом камней голоса не было слышно.

Вскарабкавшись на противоположный склон и убедившись, что опасность миновала, Насфуруш начал подозрительно присматриваться к каждому кусту.

Мы лежали затаив дыхание. Затих грохот и гул осыпающихся камней. Стало слышно, как журчит родник и встревоженно перекликаются птицы.

Но Кадыркула не так-то просто провести. Он явно чувствовал, что здесь не обошлось без чьего-то вмешательства. Выбрал камень поувесистее и принялся подниматься по нашему склону, озираясь и вздрагивая при каждом шорохе.

Мы неслышно перебрались левее и притаились в ложбине между валунами. Кадыркул некоторое время рыскал по вершине Дульдуйки, заглядывая под каждый кустик. Потом длинно выругался и швырнул камень в ущелье. Камень запрыгал по откосу, и новая лавина — правда, гораздо меньше первой — прогрохотала по каменистому склону.

Наконец Кадыркул успокоился и начал медленно спускаться к роднику Бешпанджа. Видимо, только теперь он почувствовал боль в разбитых и поцарапанных колючими зарослями ногах: проклятья и стоны сопровождали каждый его шаг. Добравшись до родника, он разразился такими протяжными воплями и бранью, что Буйнак прижала уши и замотала головой. Я выглянул из укрытия. Кадыркул держал в руке единственную портянку и громко причитал. Сапог и второй портянки нигде не было видно. Наверное, их унесла лавина.

Насфуруш опустил на камень, разорвал портянку и, продолжая жалобно причитать, принялся бинтовать ссадины на ногах.

Мы взялись было подкапывать другой валун, но Кадыркул встал и, крихтя и постанывая, скрылся в тополиной роще. Теперь ему были не страшны никакие лавины.

«Что будем делать?» — взглядом спросила меня Буйнак. Я молча пожал плечами. Снизу донесся характерный скребуший звук: Насфуруш скоблил кору.

Я осмотрелся: чахлая трава, реденькие заросли дикого ореха. Ни палки, ни камня. Что-то тревожно заняло в моей душе.

Кадыркула отсюда не было видно, лишь верхушка тополяка, с которого он сдирает кору, дрожала и покачивалась из стороны в сторону, с немой мольбой простирая ветви к горам, словно взывая о помощи. Но горы безучастно молчали. Горы были из камня. А я — нет. И у меня сердце надрывалось от того, что я не могу помочь этому тополюку и всем другим тополям в роще, которую рано или поздно до последнего дерева загубит Кадыркул. И тогда придет черед Старого Тополя...

Мое состояние передалось Буйнак. Она вскочила, несколько секунд смотрела вниз, прижав уши; и вдруг, грозно рыча, сорвалась с места, огромными прыжками понеслась к роще. Я побежал следом.

У самой рощи густо разросся колючий кустарник. Буйнак, не останавливаясь, перемахнула через заросли, а я не смог пробраться сквозь цепкую изгородь и бросился в обход. Заросли наконец поредели. Какой-то зверь, — я не успел его разглядеть, — с шумом и треском шархнул в сторону. Мне было не до него, я спешил на помощь Буйнак. Я услышал, как она, зарывав, бросилась на Кадыркула, как он испуганно завизжал: «Пошла прочь! Пошла прочь!» Я выбежал на лужайку и на мгновение застыл от ужаса: Насфуруш в ободранном халате душил, поднимая под себя, мою Буйнак.

Не соображая, что делаю, я схватил первый попавшийся камень и изо всех сил ударил по засаленной, выгоревшей тубетейке табачника. Кадыркул охнул и повалился на бок.

Буйнак лежала неподвижно, только бока у нее судорожно вздымались. Я бросился к ней, приподнял голову. Она моргнула раз, другой...

Я оглянулся. Кадыркул успел отползти в сторону и стоял на четвереньках над ручьем у невысокого обрыва. Мне казалось, что он ищет камень, чтобы напасть на нас. Я подбежал сзади и столкнул его в воду. Наверное,



вода была ледяная: Кадыркул заорал не своим голосом и вдруг умолк. На всякий случай я склонился над обрывом и глянул вниз: табачник лежал в ручье, обхватив руками валун, и жадно пил воду.

Позади меня негромко заскулила Буйнак. Я кинулся к ней и положил ее голову к себе на колени. Она часто-часто дышала, то и дело вздрагивала и пыталась подняться.

— Лежи, — сказал я и зажмурился, от слез зашипало глаза. — Лежи, отдохни. Я сбросил Насфуруша в ручей, он не придет.

До сих пор не пойму, почему я был в том уверен, но он действительно не вернулся. Когда спустя некоторое время я пошел посмотреть, что с ним, он, согнувшись, уходил вдоль ручья, держась одной рукой за поясицу, а другой хватаясь за прибрежные кусты. Халат свисал с него мокрыми лохмотьями.

Я спустился к ручью, набрал в тибетейку воды и отнес Буйнак. Она напилась и с трудом встала. Я помог ей добраться до воды, она легла на брюхо и долго пила из ручья. Ниже по течению, перепачканный в глине, как землекоп, Кадыркул безуспешно пытался взобраться на берег.

Я оставил Буйнак возле ручья и пошел посмотреть, что натворил Насфуруш в роще. А натворить он успел многое. Со стволов двух тополей кора была содрана на уровне человеческого роста. Кора валялась на земле, а чуть поодаль поблескивал в траве уродливый двуручный нож. Я закинул его подальше в колючие заросли, а кору собрал и спрятал в пещере, в которой мы с Буйнак укрывались иногда во время дождя. Потом замесил глину и обмазал ею покалеченные стволы тополей, хотя это уже вряд ли могло им помочь.

Буйнак оправилась настолько, что можно было возвращаться домой. Мы пустились в обратный путь — не через Дульдуйкию, а вкруговую, по ее склону, потому что Буйнак была еще слаба.

Я шел по тропинке и размышлял, сказать отцу про Кадыркула или умолчать. Решил, что не стоит, отец, хотя и не станет Насфуруша защищать, может выругать нас за самоуправство.

А что нам еще остается, если даже лесничий смотрит сквозь пальцы на проделки табачника? Бабушка говорит: «Купил его Кадыркул». Странно. Как можно человека купить?

Буйнак еле добралась до дому и сразу же легла возле загона. Мама вынесла собакам похлебку, плеснула и Буйнак в миску, но та даже глаза не открыла.

— Что это с собакой? — удивилась мама.

— Горло у нее болит, — объявил я. — Простудилась. Завтра у ветеринара лекарство попрошу.

— Первый раз слышу, чтобы собаки ангиной болели, — не поверила мама.

— А что они — не люди? — брякнул я невпопад.

— Люди? — засмеялась мама. — Вечно ты что-нибудь выдумашь!

— А что, — ответил я, — у них, как и у людей, горло есть. Напилась холодной воды, вот и простудила. Неужели не понятно?

— Ладно, ладно, — отмахнулась мама. — Тебя не переспоришь.

Я знаю, что она считает меня несмышленищем. Поэтому и спорить не хочет. Ну и пусть считает. Вот вырасту большой, тогда поймет, на что ее Нарбута способен!..

А ведь Кадыркул чуть-чуть не убил Буйнак. Второй раз уже. Тогда топором хотел зарубить, а в этот раз чуть не задушил. Зато теперь Буйнак долго жить будет. Бабушка говорит: кто дважды избежал смерти, тому долгая жизнь суждена.

Вот и хорошо. Мы с Буйнак и дальше за тополиную рощу будем драться. Берегись, Кадыркул Насфуруш. Ни одно деревцо не дадим в обиду.

А вдруг Кадыркул помрет оттого, что я его камнем по башке треснул? Меня в тюрьму посадят? Наверное, посадят. Буйнак что? Собак не сажают. А потом, ведь это я его в ручей столкнул...

Нет, не помрет Кадыркул. Не должен. Отец считает, что дурные люди не умирают. Кадыркула самого давно надо бы в тюрьму посадить за его проделки! А бабушка почему-то говорит, что на его кошку никто и шикнуть не смеет... Ну, ничего, вот брат из армии придет!

Недавно отец с мамой ему письмо отправили. Написали, что к тому времени, когда он вернется, совхоз нам машину выделит. И чтобы он на шофера выучился. Станет нас возить всюду.

Я, когда вырасту, тоже машину водить буду.

А вот письма писать я пока еще не умею. Зато могу Буйнак нарисовать. Я в то письмо рисунок вложил. Шер-

бута — так моего брата зовут — в одном из писем просил, чтобы я ему рисунки присылал. Я нарисовал сидящую Буйнак... В следующем письме тоже какой-нибудь рисунок пошлю. Я так Шербуту люблю, что иногда от тоски хочется плакать. Скорее бы он приезжал. Я ему тогда все про Насфуруша расскажу. Уж кого-кого, а Шербуту Кадыркул испугается. А что, если ему фотографию показать, на которой Шербута с автоматом в руках снят? Нет, не стоит, пожалуй, Насфуруш, чего доброго, выхватит ее у меня из рук и изорвет.

И тут меня осенило: ружье! Отцовская одиностволка! И как я про нее сразу не вспомнил? Кадыркула надо им припугнуть. Может, и стрелять не придется, он как увидит меня с ружьем, так за семь гор драпака задаст...

Так-то оно так, только стрелять ведь я не умею. К тому же, если мама увидит, что я ружье трогаю, она сразу отцу скажет. Он тогда с меня шкуру спустит и соломой набьет. Я не представляю, как можно человеческую шкуру соломой набить, но раз отец так говорит, значит, можно.

Однажды, когда из города приехали дяденьки в шляпах, отец зарезал козла, снял с него шкуру, набил соломой и повесил в загоне под крышей. А потом, уже летом, сделал из нее бурдюк — кислое молоко хранить.

Я тогда спросил у мамы, что получится, если с человека снять шкуру, а она молча ткнула пальцем в бурдюк и засмеялась. Но ведь бурдюк-то из козлиной шкуры!

Решено. Как только отец уедет в совхоз по делам, я хватаю ружье и бегу в Тераклисай. Лишь бы мама не увидела.

И пусть только попробует Кадыркул топольки тронуть! Захвачу его в плен, как наши фашистов брали, и в кишлак с поднятыми руками приведу. А пока...

А пока мы с Буйнак отправились в Тераклисай проведать, как раненые топольки поживают.

Вот и тополиная роща. Но что это? Тополей с содранной корой нет и в помине! Одни пеньки торчат...

Будь ты проклят, Насфуруш! Чтоб у тебя отсохли руки, которыми ты эти топольки спилил! Я знаю, это сделал ты.

Рядом с пеньками сквозь прошлогоднюю листву пробилась тонкие побеги — крохотные топольки с изумрудными клейкими листиками.

Они еще совсем маленькие, но они вырастут и ста-

нут большими, красивыми тополями. А сейчас им надо помочь...

Мы с Буйнак трудились до самого вечера; соорудили запруду на ручье, провели арычек к молодым деревцам. Теперь земля вокруг них всегда будет влажной.

Растите, топольки! Тянитесь к солнцу!

...Кадыркул громадной зловещей тенью поднялся выше гор, заслонил полнеба. Гибель грозила всем: и увенчанной снежной вершиной горе Ойкор, и темно-зеленым арчам на ее склонах, и ледяным прозрачным ручьям, и тополиной роще, и птицам, и зверям. «Нет! — закричал я. — Не-е-ет!» И горы откликнулись долгим, медленным, угасающим эхом.

Я взбежал на вершину горы, приставил ладони ко рту рупором и закричал изо всех сил:

«Люди-и-и! Не говорите, что не слышали! Помогите-и-и-и-е! Горы в беде-е-е-е! Скорее сюда-а-а!»

Но в ответ — только гулкое, замирающее эхо. Тогда я хватаю ружье и, целясь Насфурушу в лоб, нажимаю на спусковой крючок. Но ружье не стреляет. Я отбрасываю его в сторону и прыгаю с горы.

...Я проснулся от собственного крика и долго не мог уснуть. Знобило.

За стеной сонно и глухо залаяла Буйнак. Ей откликнулись Актай и Сиртлан. Верные сторожа, они предупреждали: «Вокруг все тихо. Спите спокойно».

А мне все равно не спалось.

Взять ружье мы так и не сумели: у отца прибавилось забот, и он никуда не отлучался из дома. Весной у него всегда так: с ягнятами хлопот много. А начинается все несколькими месяцами раньше.

На отгонное пастбище приезжает ветеринар, овцам специально уколы делать. Но такие уколы не всем овцам делают, а только совхозным, у которых тамга на ухе. Овцам главного бухгалтера, заведующего фермой и нашим уколов не делают. Их отец сразу же от стада отделяет и велит Хамро в горы их угнать.

У этих овец весной по одному, редко по два ягненка бывает. А у тех, которым укол делают, — по три, по четыре, иногда и больше. Каждой по одному ягненку оставляют, а других режут, чтобы шкурки сдать.

Я однажды спросил у отца, почему нашим овцам уколов не делают. Он только рукой махнул:

— Э-э, сынок! Лучше от овцы одного настоящего яг-

ненка получить, чем четырех котят, от которых ни шкурка, ни мяса. Да и овцы после всех этих фокусов уже не те, болеют, чахнут.

— Тогда зачем же другим овцам уколы делать? — удивился я.

— Маленький ты еще, — вздохнул отец, — вырастешь, поймешь. Это ведь не вчера началось. Кто-то придумал, другие подхватили. Кому не хочется от ста овец триста-четыреста ягнят получить? Теперь начинают понимать, что к чему, да назад идти неудобно.

— А вы им не можете подсказать?

— Считаешь, послушают? Кто я такой? Обыкновенный чабан, маленький человек. Засмеют только. Подумаешь, скажут, умник нашелся!..

Отец у нас никогда душой не кривит. Я слышал, как однажды он сказал маме:

— Если я что не так сделал, то не по своей воле. Приказывают — и приходится.

Когда заготовители к нам приезжают, мы с Буйнак стараемся уйти куда-нибудь подальше. Обычно на Дульдуюльскую забираемся. Буйнак помалкивает, а я ее вопросы засыпаю.

— Ну, скажи, чем ягненок виноват? За что его убивают? За то, что у него шкурка красивая? Слышала, как они блеют, бедняжки? Небо и то, наверное, содрогается. А людям хоть бы что. И все для того, чтобы воротник на пальто сшить или шапку. И ради этого надо малышей убивать?

Все вокруг были сильнее нас: и отвратительный в своей злобешей ненасытности Кадыркул, и заготовители, не знающие жалости к беззащитным ягнятам, и горожане, которые, сверкая золотыми зубами, азартно торговались с чабанами за каждую шкурку, и браконьеры, которые, умаслив лесничего, рубили и без того редкие арчовые деревья, и те, что вырезали со склонов изумрудные квадраты дерна и увозили куда-то в кузовах машин. Все они неизменно побеждали, и мы были бессильны перед ними.

Нынешней весной у Сиротки должен родиться ягненок. Неужели и его ждет та же участь? Я умолю отца, чтобы ее ягненка не трогали. А если отец не слушает, тогда...

Тогда я потихоньку уведу Сиротку в кишлак и там спрячу, так что никто ее не сыщет!

И тут меня осенило. А что, если... Я вскочил и бро-

сился искать Буйнак. Она спала на солнышке у южной стены загона. Я растолкал ее. Она сладко потянулась, зевнула и недовольно взглянула на меня, будто спрашивая: «Ну что еще у тебя?»

— Придумал! — зашептал я ей в самое ухо. — Слышишь? Я придумал, как ягнят убереечь. Пойдем покажу.

Она встала и нехотя поплелась за мной. Я подвел ее к воротцам загона.

— Ночью, когда все будут спать, надо открыть ворота. Ягнята убегут и смешаются со стадом. Поди ищи их тогда! Я бы сам открыл, но мне нельзя. Если заметят, как я из дома выхожу, сразу обо всем догадаются. Открой ты, ладно?

Буйнак зажмурилась и встряхнула головой. Это означало, что она не согласна. «Не заставляй меня обманывать хозяина, — говорили ее глаза. — У нас, у собак, это не принято».

— Ладно, — сказал я, чувствуя, что вот-вот расплачусь от обиды. — Не хочешь, не открывай. Сам открою. Тебе, видно, все равно, что с ягнятами станет.

Буйнак продолжала смотреть мне в лицо. «Зачем ты меня мучаешь? Ведь ты же знаешь, что я не могу этого сделать».

— Можешь, — сказал я ей. — Должна. Это доброе дело. Мы спасем ягнят.

Буйнак вздохнула и понуро побрела прочь. Она согласилась. Она всегда и во всем со мной соглашалась. Я догнал ее и погладил по загривку.

— Ночью, когда все уснут, ладно? Я с вечера развяжу узел. Ты только толкнешь ворота посильнее, вот так, и они откроются...

В тот день отару пригнали с гор и пустили пастись недалеко от загона. Старшим было не до меня, и я, воспользовавшись этим, улучил момент и развязал веревку, которая удерживала ворота загона. Ворота открывались вовнутрь, и теперь достаточно было толкнуть снаружи, чтобы они распахнулись. Уже смеркалось, когда я зашел в дом, напился воды и присел на кошму.

— Набегадся? — спросила мама.

Я молча кивнул. Сердце отчаянно колотилось.

Мама налила мне мучной похлебки. Я поел и уже собирался лечь, когда со двора донеслось отчаянное блеянье и топот.

Я вздрогнул, но сделал вид, будто не слышу. А яг-

нята орали так, что в ушах звенело. Отец схватил шапку и выбежал из дома. За ним — мама. Чуть погодя вышел и я.

Было уже совсем темно. Отец с фонарем в руках стоял возле распахнутых настежь ворот загона и на чем свет стоит ругал дядю Хамро. А вокруг, крича на разные голоса, носились ягнята. Судя по бляенью, многие из них разбежались в поисках отары далеко по окрестности.

— Тысячу раз я тебе говорил, чтобы ворота закрывал как следует! — гневался отец.

— Да закрывал я их, — дядя Хамро заикался от растерянности.

— Закрывал! Верно говорят, в сорок лет ума нет — никогда не будет. Головоотяп ты, больше никто! Как этих чертей собрать теперь в темноте?

— Зря вы его, беднягу, ругаете, — вступилась за дядю Хамро мама. — Он ворота хорошо закрывал. Своими глазами видела.

— Не вмешивайся в мужской разговор! — прикрикнул на нее отец. — Все вы тут безрукие, ничего толком сделать не умеете! Только и можете, что языком трепать! Чего стоите? Загоняйте ягнят обратно!

Дядя Хамро и мама бросились ловить бегавших возле загона ягнят, а я на всякий случай пошел в дом.

Буйнак тоже нигде не было видно — спряталась от греха подальше.

Горы вокруг, казалось, перекликались между собой тысячеголосым бляеньем: ягнята искали своих мам, а те — ягнят.

Я представил себе, какой переполох творится сейчас в отаре. Наверное, отец тоже об этом подумал. Я услышал, как он проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Цирк, да и только! Хорошо, если не потопчут молодняк. Утром заготовители приедут, что я им скажу?..

Ягнят никто не жалел. Даже отец. Я дождался, пока взрослые ушли в дом, открыл ворота и выпустил на волю ягнят, которых им удалось изловить.

Будь что будет! Пусть изобьют меня, пусть даже убьют. Я впервые чувствовал, что не боюсь наказания.

Когда я вернулся в дом, отец сидел у дастархана злой, не зная, на ком сорвать раздражение.

— Где бродишь?

— Здесь, — тихо ответил я.

— Ложись спать!

«Ох, и задаст же он мне утром, когда увидит, что загон опять пуст», — подумал я, забираясь под одеяло.

Утром, еще затемно, мы с Буйнак ушли на Дульдуйкиню, чтобы не видеть, как будут ловить и убивать ягнят. Но голод не тетка. И к обеду мы возвратились.

Все было так, как я и думал. Заготовители с привычной размеренностью быстро освеживывали тушки, а дядя Хамро относил их к самосвалу и бросал в кузов, переругиваясь с шофером.

В эту минуту я ненавидел их всех! Для них ягнята не были живыми существами. И заготовители, и шофер, и чабан Хамро думали только об одном — как бы заработать побольше денег. Я не раз видел, как, возвратившись из города, куда отвозил освежеванные тушки, шофер, поплевав на пальцы, сосредоточенно отсчитывал чабану деньги. Наверное, платил за то, что тот грузил тушки в самосвал. И всякий раз Хамро ругался с шофером, называл его жуликом.

Есть расхотелось. Почувствовав, что вот-вот зарыдаю, я побежал мимо загона на лужайку и наткнулся там на шкурки, разложенные рядами для просушки. Еще совсем недавно это были живые ягнята. Они резвились, блеяли, бегали, спотыкались на тонких ножках, просили есть, а теперь...

Я заревел во весь голос и, не соображая, что делаю, бросился собирать шкурки, прижимая их к груди, словно они были живыми... Затрещина вернула меня к действительности. Это был отец. Таким разъяренным я его еще не видел. Наверное, я должен был испугаться. Но страха не было. Была острая режущая боль, от которой потемнело в глазах, и слепая, жгучая ненависть.

— Будьте вы все прокляты! — закричал я, давясь слезами и задыхаясь. — Все будьте прокляты! Убийцы! Вырасту большой, за все вам отомщу! Всем!.. Всем!..

Я понимал, что совершаю непоправимое, но остановиться уже не мог. Мне казалось, сейчас и меня, как ягненка, они распоросуют разделочными ножами. Я корчился от невыносимой боли и, прижимая к себе сырые шкурки, катался по траве, крича и захлебываясь слезами. Я чувствовал себя бесконечно одиноким в этом жестоком и безжалостном мире, который обрушил на мои плечи непосильную тяжесть.

Я очнулся, когда мамины руки подхватили меня. Сквозь пелену слез я увидел ее бледное, искаженное



гневом и страданием лицо, растрепанную голову. Она крепко обняла меня.

— Пусть отсохнет рука, ударившая моего сына! — крикнула мама. — Проклятые мясники! Вы не только ягнят, вы и детей убивать готовы! Не плачь, сынок! Говорила я тебе, чтобы не ходил один в горы! Это горные духи вселились в тебя.

Продолжая причитать и всхлипывая, она унесла меня в дом.

Вечером я не обмолвился с отцом ни единым словом. Лег раньше всех, постарался уснуть, и мне это удалось. А рано утром мы с Буйнак опять ушли подальше от дома.

Неспокойно мне было. Я то срывался с места и мчал как сумасшедший, пока хватало сил, вверх, вверх, все выше по горной тропинке, и Буйнак летела рядом, не отставая ни на шаг, то вдруг падал, обессиленный, и лежал долго, шумно дыша, чувствуя спиной глубинную прохладу гор, а грудью — согревающий жар солнца. Я лежал, представляя небо то огромным, крутым куполом мечети, то, наоборот, тяжело провисающим брюхом гигантского голубого быка... Небо...

Как я все-таки мало знаю о нем... Почти ничего. Почему оно так притягивает меня? Почему мне кажется, что оно живое и знает ответы на все мои вопросы?

Снизу, из сая, ветер доносил до нас разговор горожан и чабанов. Я узнал голос чабана соседней отары, которого люди называли Джумантай Сумасброд.

— В общем, так, я режу овцу, вынимаю из нее четырехмесячного ягненка и снимаю с него шкурку, — бахвалился Джумантай. — Сур — первый класс. Эмир Алимхан такого не видывал. И всего за четыреста рублей.

— Триста! — Голос был мне незнаком.

— Буду посредником. Триста пятьдесят, — вмешался кто-то третий. — И по полста с каждого в мою пользу.

— Четыреста, и не копейки меньше, — упорствовал Джумантай Сумасброд. — На базаре за такую шкурку пятьсот дадут. Из уважения к вам дешевле уступаю.

— Кубанка хоть получится? — спросил незнакомец.

— Еще как! А нет, вторую овцу заколю.

— По рукам! Даю четыреста, чтобы шкурка завтра была готова.

— Не просохнет до завтра.

— Не беда. Мастер сам обработает и высушит. На днях в столицу еду. К этому сроку кубанка должна быть готова.

— Договорились. Гоните монету.

— А посреднику? Хоть на полбанки пожертвуйте!

— Пошел ты! — окрысился Сумасброд. — Без тебя договорились.

— Деньги с меня получишь, Джумантай. — Я узнал по голосу главного бухгалтера совхоза Рахима.

— Нет-нет, — запротестовал горожанин. — Я заплачу.

— Вы у нас гость, — веско сказал бухгалтер. — В кои-то веки к нам пожаловали. Так что не обижайте. С Джумантаем мы сочтемся. А шкурку я вам завтра сам доставлю.

Джумантай прикусил язык. С Рахимом не поспоришь, он — главный бухгалтер совхоза. И денег, конечно, не даст. Плакали четыре сотни.

И вдруг у меня все похолодело внутри: о чем я думаю? Ведь Джумантай собирается содрать шкурку с еще не родившегося ягненка!

Я отчетливо представил себе, как он вспарывает живот овце, запускает в него окровавленные руки...

— Нет!.. Нет!.. Остановите его!! — закричал я. — Ведь вы же... лю-ю-ди-и-и!!

Буйнак ошетибилась и зарычала. Ветер прошелестел по траве, донес чей-то смех. Там, внизу, меня никто не услышал.

Лето кончилось. Настала пора уводить отары с горных пастбищ. Мы погрузили пожитки в коляску мотоцикла. В нее же сели мама с Муттихон. Я устроился позади отца на втором сиденье. Чабан Хамро и Буйнак остались с отарой, чтобы отобрать слабых и больных овец, которых потом надо будет пригнать в кишлак.

Пасти этих овец возле кишлака входило в мои обязанности. Обычно меня сопровождала Буйнак, но нынешней осенью помощи от нее я не ждал: у Буйнак должны были родиться щенята. Я заботился о Буйнак — соорудил ей подстилку из соломы в углу сарая, носил еду, менял воду в миске.

И вот однажды утром я проснулся от громкого отцовского голоса.

— А чтоб ты подохла, не оценившись! — ругался отец во дворе. — Восемь штук сразу принесла! Полон сарай собак! Псарня, а не дом. Сколько раз собирался увести проклятую куда-нибудь подальше!

«Щенята! — обрадовался я. — У Буйнак щенята». Вскочил и со всех ног бросился в сарай. Буйнак лежала на боку в углу, на подстилке из соломы, а возле нее копошились и жалобно попискивали крохотные слепые щенки. От радости я растерялся и не знал, что делать. Присел на корточки и погладил Буйнак по голове. Она не шелохнулась, только взглянула на меня и снова закрыла глаза. Я взял миску и вышел из сарая, чтобы принести ей поесть.

Мама хлопотала возле очага.

— Мама, Буйнак оценилась. Дайте ей поесть что-нибудь, — попросил я.

Мама кивнула, продолжая следить за казаном, в котором закипало молоко.

— Сейчас, сынок. Казан освободится, я ей болтушку приготовлю.

Я не отходил от очага до тех пор, пока не сварилась болтушка, остудил ее в миске и отнес в сарай. Опершись на передние лапы, Буйнак жадно лакала похлебку, а я тем временем хорошенько рассмотрел щенят.

Отец ошибся: их было семь, а не восемь. Три — вылитая Буйнак, один черный, один пятнистый и два пегих.

Желающих забрать щенков нашлось, как всегда, много.

— Кто щенка просит — сам пес, кто не дает — собака! Что я их — пасти буду? — сердился отец. — Подрастут, тогда и забирайте. Только, чур, вот у него спрашивайте, он у нас над собаками главный начальник! Пусть и решает. Слышишь, Нарбута?

Я слышал, но раздавать щенят не хотелось, и, возвращаясь из школы, куда я нынешней осенью пошел в первый класс, я боялся, что не застану щенков на месте. Так и случилось: четырех кобельков раздали без меня, и я даже не узнал кому.

Я понимал, что это, может быть, и к лучшему, что нам столько собак ни к чему, что у новых хозяев щенкам будет совсем неплохо, но где-то в душе все равно было жалко. И, как ни странно, я еще больше жалел трех оставшихся: они не были кобельками, и поэтому брать их никто не хотел.

Щенки подросли и уже всюду бегали за Буйнак — забавные, пушистые, неуклюжие, как медвежата. Особенно смешным был белый щенок с черным пятном вокруг пасти. Когда он вставал на задние лапки и быстро-быстро перебирал в воздухе передними, он становился похожим то ли на суслика, то ли на крошечного потешного человечка.

— Как же мне назвать тебя, бедняжка? — спросил я его однажды. Щенок смотрел на меня, хитро моргая круглыми веселыми глазенками. — Будь ты мальчиком, еще куда ни шло. А то угораздило девчонкой родиться! — Я в задумчивости гладил щенка, а он забавно перебирал лапами, пытаясь схватить мои пальцы. — Знаешь, назыву-ка я тебя Карауз — Чернушка. Не беда, что ты почти вся белая, мордашка-то у тебя черная!

Карауз слушала, наострив уши.

— Нравится? Карауз? Правда, здорово? Карауз! Карауз! На! На!

Я побежал, оглядываясь на нее и продолжая звать. Карауз раздумывала несколько секунд и вдруг сорвалась с места и кинулась за мной, заливаясь веселым писклявым лаем.

Мы играли все вместе, пока не наступил вечер. Утром я ушел в школу, а когда вернулся... Лучше бы я не ходил в тот день в школу...

Обычно Буйнак со щенками встречала меня возле ворот. На этот раз меня никто не встретил. Я бросил сумку с книгами у порога и помчался в сарай. Там было пусто. Я обежал весь двор, заглянул в каждую щель, выскочил за ворота, кричал, звал... Мне никто не ответил...

Бабушка пряла свою пряжу на солнцепеке возле сарая. Я бросился к ней:

— Бабушка! Где Буйнак, бабушка?

Она нахмурилась, не поднимая глаз от пряжи.

— Щенков люди разобрали. А Буйнак, по-моему, за отцом твоим увязалась. Он утром к отаре уехал.

— Неправда! — крикнул я, чуть не плача. — Не могла она с отцом... Он ведь на мотоцикле уехал!

— Стара я тебя обманывать! — обиделась бабушка. — Не веришь, у матери своей спроси.

Я побежал к дому.

Мама месила тесто. Я подошел к ней и, еле сдерживая слезы, спросил упавшим голосом:

— Скажите правду, мама, где Буйнак?

Мама взглянула на меня как-то виновато и растерянно.

— Здесь где-нибудь, наверное... Да что это я говорю? Она за отцом увязалась. Ну, что же ты плачешь?

— А щенята?

— Щенят, кажется, чабаны забрали.

Я видел, что мама говорит неправду и сама мучается из-за этого. Но я должен был во что бы то ни стало знать все.

— Отец уехал на мотоцикле, — соврал я. — Сам видел. И Буйнак с ним не было.

— Ну, тогда не знаю, сынок. — Ладонью мама устало отвела со лба прядь волос. — Наверное, бегают где-нибудь.

Я понял, что допытываться бесполезно, и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. «Надо расспросить Муттихон, — решил я. — Наверное, ее тоже научили, что отвечать, но ее хоть обмануть можно».

Отыскать Муттихон оказалось не так-то просто. Я уже отчаялся было, когда услышал мягкие шлепки со стороны старого русла арыка. Сестренка лепила из глины хлопушки и была так увлечена своим занятием, что не сразу меня заметила. А может, она просто делала вид, что меня не видит?

— Что ты тут делаешь, Муттихон? — спросил я, не зная, с чего начать разговор.

Она взглянула на меня и отвела глаза. «Так и есть, — подумал я, — научили девчонку». И решил не хитрить.

— Буйнак не видела?

— Нет.

— Не стыдно обманывать? Забыла, чему тебя бабушка учит?

— Все равно не скажу! — заупрямилась Муттихон. — Папа не велел говорить.

— Не скажешь?

— Не скажу! Только попробуй меня пальцем тронуть. Папа предупредил — если обижать меня будешь, он тебя поколотит как следует.

— Никто тебя и не собирается трогать. Скажешь, где Буйнак, цветные карандаши получишь.

— Ха! Так я тебе и поверила!

Я сделал вид, что собираюсь уходить.

— Постой. Ладно, скажу, только чтобы папа не знал! И Муттихон рассказала все, как было.

Утром, лишь только я ушел в школу, отец посадил щенят в хурджун, взвалил на ишака и выехал за калитку, свистнув Буйнак, чтобы шла за ним. Маме он сказал, что отвезет собак в тугай\* и там оставит.

— Так и сказал? — переспросил я.

— Так и сказал,— кивнула Мутти.— А теперь давай карандаши, раз обещал.

— Да, не бойся. Ты вот что сделай: беги домой и принеси пару лепешек. Только смотри, чтобы никто не видел. Понятно?

— Понятно. Ты что задумал?

— Не твое дело.

— Неужели в тугай пойдешь? — ахнула сестренка.— Не ходи! Бабушка говорит, там волки водятся, шакалы. Не ходи! Лучше мне никаких карандашей не надо!

— Враки все это,— успокоил я.— Я в тех тугаях тысячу раз с Буйнак бывал. Ну, сама подумай, кого из нашего кишлака волки в тугаях съели? Никого. Это бабушка тебя пугает, чтобы далеко от дома не уходила. Иди, лепешки тащи.

Уговаривать Муттихон не пришлось. Она мигом слетала домой и принесла лепешки.

— Молодец,— похвалил я.— Можешь взять карандаши, они у меня в сумке лежат. Если мама спросит, где я, скажи — с мальчишками играть пошел.

Я погладил ее по голове, взял хлеб под мышку и выбежал на улицу. К тугаям вела узкая, заросшая по обочинам густым камышом дорога. Метелки камыша пушились от малейшего дуновения, пушинки роились в воздухе, устилали дорогу грязно-серыми хлопьями.

Вдоль дороги тянулся водосборный коллектор, который кончался озером. А сразу за озером — тугай. Я дважды бывал здесь с отцом: пригоняли на водопой стадо, когда возвращались с отгонных пастбищ. И оба раза меня так и подмывало забраться в чащу, такая она была загадочная и пугающая, полная неясных шорохов и приглушенных звуков. Но отец строго-настрого запрещал мне бывать в тугаях. Туда и взрослые-то не часто решались заходить, разве что по крайней необходимости. Тугай пользовались дурной славой.

...Я нерешительно потоптался возле зарослей на берегу озера. Идти теперь было страшновато. Дорога обрывалась у озера. Дальше в тугай вели тропинки. Про-

---

\* Тугай — густые заросли.

бираться по ним можно было только пригнувшись — так низко нависали колючие ветки. Было тихо — чаще жила своей таинственной, непонятной жизнью.

Я огляделся по сторонам. Коллектор, видимо, углубляли экскаваторами, там и сям высились холмы твердого сухого грунта.

Что если взобраться на холм и оттуда позвать Буйнак? Она услышит и прибежит. А вдруг не прибежит? Все равно буду звать! Она умная, поймет, что я тут ни при чем... Что это не из-за меня...

А может, отец вовсе не привозил их сюда? Отвез куда-нибудь в другое место? Разыскать отца и спросить?

Нет, не годится. Спрашивать нельзя. Ну почему он такой жестокий у нас? Ни Буйнак не пожалел, ни щенков. Наверное, его кто-то сильно разозлил. Он, когда вспылит, ничего и не слышит. Бабушка говорит, что он с войны таким пришел. А до этого спокойный был, добрый...

Я поднялся на холм и еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Над зарослями джиды и турангила покачивались серебристо-сиреневые метелки камыша. Дальше заросли становились выше и выше, начинался настоящий лес. В вечеряющем небе кружились птицы, какие — отсюда не разглядеть.

— Буйна-а-ак! — крикнул я. Голос прозвучал негромко и жалобно. Я набрал полную грудь воздуха и закричал изо всех сил: — Буйна-а-а-ке-е-ей!

В кустах испуганно шарахнулся какой-то зверек. Я вздрогнул и оглянулся. И вдруг увидел, что сквозь заросли по направлению ко мне кто-то движется. Почему-то я сразу решил, что это Буйнак.

Она медленно вышла из кустов и остановилась у подножия холма, понуро опустив голову. Такой ее я еще никогда не видел: бока свалились, шерсть слиплась в комья, вся в репьях и грязи, глаза тоскливые, уже ни на что не надеющиеся.

Пока я сбегал с холма, Буйнак легла на редкую пожелтевшую траву, уронив голову на передние лапы. За эти несколько часов она словно постарела на десять лет.

Я хотел обнять ее и не решился.

— Хлеба тебе принес, — сказал я, чувствуя себя бесконечно виноватым перед нею.

Буйнак даже не взглянула на меня. Она была права. Многие годы она верой и правдой служила нашей семье, охраняла овец лучше, чем иные пастухи, рожала сторо-

жевых псов, стерегла дом и кочевье, любила нас всех, даже отца, и вот теперь...

Колючий комок подкатил к гортани, мешал мне дышать.

Конечно, Буйнак была права. Ведь мы прогнали ее из дома. Привезли вместе со щенками в тугай и бросили — живи как хочешь. Представляю, что она о нас думает. О нас... Но ведь я не хотел, я...

Буйнак подняла голову, и в глазах ее промелькнуло новое выражение. «Ты не виноват, — казалось, говорили ее глаза. — Я не обижаюсь на тебя».

Я опустил на колени и прижался лицом к ее морде.

— Хочешь, я останусь с вами? Будем вместе жить в тугаях.

Буйнак вздохнула и отодвинулась от меня. Теперь в ее глазах были жалость и укоризна. «Глупый, разве люди живут в тугаях? Люди должны жить с людьми. Это нам, собакам, все равно где жить».

— Неправда, — сказал я.

«Правда», — моргнула Буйнак.

Она видела меня насквозь. Ее невозможно было обмануть. Мы оба понимали это.

— Мы останемся друзьями.

«Да».

— Я буду навещать вас.

«Да».

— Часто-часто.

«Нет. Приходи изредка. У тебя теперь много своих забот».

Она потянулась ко мне, просунула морду мне под мышку. Некоторое время мы сидели молча. Я чувствовал, как замедленно бьется ее сердце. Прошелестел ветер в зарослях. Каркнула, пролетая над нами, ворона. И опять наступила тишина.

— Где Карауз? — спросил я.

Буйнак осторожно высвободилась из моих рук и поглядела в сторону зарослей. Я вскочил и подобрал с земли лепешки.

— Пойдем к ним.

Казалось, Буйнак колеблется.

— Пойдем, пойдем, — торопил я.

Она решила и медленно затрусилась в чашу. Я поспешил следом.

Наша тропинка была похожа на узкий желто-зеле-



ный туннель в зарослях. Ее наверняка протоптало зверье — взрослому человеку здесь пришлось бы пробираться ползком.

Я шел следом за Буйнак, низко пригнувшись и отводя от лица колючие ветви джиды. Местами приходилось опускаться на четвереньки. Тропинка была устлана сухими листьями камыша. Я порезал руку, но не подавал виду и старался не отставать от Буйнак.

Впереди забрезжил рассвет. Через минуту-другую Буйнак вышла на лужайку и оглянулась, словно приглашая меня поторопиться.

После желто-зеленого сумрака среди чащи закатное солнце ослепило меня, и я зажмурился. Поросшая жесткой зеленой травой лужайка с трех сторон была окружена озером. Дул ветер, по воде бежала мелкая рябь. Красноватое вечернее солнце клонилось к закату. От него через все озеро тянулась огненная дорожка.

Чуть в стороне, на подстилке из сухого камыша, свернувшись клубками, спали щенята.

— Карауз! — позвал я.— Иди сюда, Карауз!

Все трое вскочили, как по команде, и бросились к нам, заливаясь лаем и повизгивая. Я разделил лепешку на четыре части, три отдал щенятам, а четвертую — побольше — Буйнак. Они мигом все съели.

— Завтра принесу, потерпите,— сказал я, а про себя решил, что надо кроме хлеба прихватить с собой что-нибудь еще.

...Возвращаясь домой уже затемно, я думал о том, что отвечу отцу, если он станет меня расспрашивать, где был. Но отца дома не оказалось. Я наскоро поужинал и лег спать, довольный тем, что разговор с отцом не состоялся. Я не боялся этого разговора. Мне не хотелось говорить с отцом, не хотелось его видеть.

Муттихон помалкивала о том, что я бываю в тугаях. Но если бы она даже и проболталась, ей все равно никто бы не поверил: тугаи были далеко, туда и взрослые ходить побаивались.

Меня такое положение устраивало, и я чуть не каждый день навещал Буйнак с детьми.

Разговора с отцом у нас так и не состоялось. Последнее время он, правда, редко бывал дома, но, когда и бывал, речь о Буйнак не заходила. Он упорно молчал,

я ни о чем не спрашивал, и все делали вид, будто ничего не произошло.

Порою я смотрел на отца и, чувствуя, как болезненно сжимается сердце, задавал себе вопрос: неужели он и в самом деле такой черствый, бессердечный человек? Я не мог, не хотел в это верить. Ждал, что отец вот-вот сам заговорит о Буйнак и ее детях, возьмет меня с собой, мы отправимся в тугай и привезем их обратно.

Но отец молчал, и я с ужасом убеждался в том, что судьба четвероногих изгнанников ему безразлична.

Бабушке вообще ни до чего, кроме пряжи, дела не было. Она заметно сдала за последнее время. Ни с кем не разговаривала. Пряла целыми днями да пила чай, настоянный на оленьей траве.

Мама хлопотала по хозяйству и бывала так занята, что таскать из кухни еду для собак мне не составляло особой трудности.

Так все и шло своим чередом. По утрам я уходил в школу, потом спешил к Буйнак в тугай, возвращался домой, готовил уроки и ложился спать. А утром все начиналось сначала.

Однажды в классе нам дали задание нарисовать, кто как провел лето. Я нарисовал Буйнак возле топольков с ободранной корой.

Учитель долго разглядывал мой рисунок, потом отложил в сторону и посмотрел на меня так, словно видел впервые. Я смутился, а он похлопал меня по плечу со словами:

— Очень хороший рисунок, Нарбута. Молодец. Пошлем его в журнал «Гунча», если не возражаешь.

Я удивился: рисунок как рисунок, могу нарисовать и лучше, но вслух ничего не сказал.

Прошла зима. Опять зазеленели горные склоны. На ветках деревьев в тугаях набухли и проклюнулись почки. Шенки у Буйнак выросли и стали совсем взрослые. Если бы я не видел их чуть ли не каждый день, я бы их теперь не узнал. Даже Карауз. Шерсть у нее стала густая, пушистая. И потемнела. Она была теперь серая, как волчица. Да и повадками напоминала волчицу — такая же поджарая, стремительная, ловкая. Ей ничего не стоило поймать зайца, подкараулить суслика или зазевавшуюся пичугу. Она даже за рыбой наловчилась охотиться на отмелях. Сестры от нее не отставали.

Они уже давно не нуждались в моей помощи, сами

себе добывали пропитание и Буйнак приносили ее долю.

А она, как и наша бабушка, сильно сдала за эту зиму, двигалась мало, ела неохотно, целыми днями грелась на солнышке.

Наверное, бабушка ошиблась, когда говорила, что собака за год два года проживает. Не два, а все пять. Бабушке семидесятый год пошел, ну и Буйнак по собачьему счету не меньше.

Как же я теперь без нее с Кадыркулом и заготовителями бороться буду? На Карауз с сестрами надежда маленькая, они совсем другие.

Карауз грызла кость, лежа рядом с матерью. Я посмотрел на ее грозные клыки, представил себе, как она рвет и треплет ими Насфуруша, и засмеялся. Да, с Караузом Кадыркулу ни за что не справиться, это ему не Буйнак! Карауз выросла в тугаях настоящей хищницей, жестокой, бесстрашной, не знающей жалости.

Однажды, когда я после школы пришел, как обычно, проведать Буйнак, они все вчетвером рвали зубами тушу какого-то крупного зверя.

— Ого! Вот так добыча!..— начал было я и вдруг осекся, чувствуя, как у меня от ужаса холодеют и сами собой подгибаются ноги: собаки терзали овцу:

«Неужели Карауз решила напасть на стадо? А может быть, баран сам заблудился и забрел в тугай? Но даже если и так, то...»

Мысли путались, тревожные, обжигающие, холодные. Ни слова не говоря, я отошел на несколько шагов и остановился возле самой воды. Собаки, не обращая на меня внимания, продолжали неторопливо раздирать свою страшную добычу.

«...Она нарушила древнейший закон чабанской жизни. Из века в век собака была чабану верным другом, помогала ему пасти, охранять овец от хищников и никогда не нападала на отары сама. И вот... Но, может быть, я ошибся? Может быть, мне только показалось, что это овца?..»

Я снова подошел к собакам, присмотрелся внимательнее. Нет, сомнений не оставалось: это овца из отары. Голова еще цела... Мертвая, в потеках грязи и запекшейся крови...

И вдруг ужасная догадка пригнула меня к земле. Я бросился на колени, растолкал глухо зарывавших собак, непослушными пальцами стер с клейма багровую слизь и увидел три знакомые тройки... Отчаянный вопль

рванулся из моего горла. Падая, я успел заметить, как шарахнулись в сторону косматые, зловещие тени четвероногих убийц...

Я очнулся от щекочущего прикосновения к лицу теплого шершавого языка Буйнак. Ее кажущаяся огромной голова четко вырисовывалась на фоне пронизанного весенним солнцем бездонного голубого неба. Глаза смотрели на меня жалобно и виновато.

— Как ты могла...— произнес я и заплакал. В горле першило, голос был какой-то чужой, хриплый.—Как же ты допустила, Буйнак?

Она склонила голову набок и чуть слышно заскулила.

«Не надо, — умоляли ее глаза. — Не говори об этом».

— Надо,— жестко сказал я и сел, подтянув колени к подбородку.— Что плохого сделала вам Сиротка? За чем вы убили ее?

«Ты не поймешь».

— Не пойму,— согласился я.— Наверно, никогда не пойму. Но ты все равно ответь.

«Я не убивала Сиротку».

— Карауз?

«Да».

— Какая разница?

«Разница есть. Карауз выросла в тугаях. Она почти не знает людей».

— Ну и что?

«Ничего. Просто она живет по другим законам».

— Она твоя дочь.

«Да, но...»

— Ты должна была ее научить.

«Я старалась. Не вышло. Тебе этого не понять! Ты не жил в тугаях. Здесь все по-другому. Здесь иначе нельзя».

Я осмотрелся по сторонам. Сестры Карауз лежали поодаль, греясь на солнце.

— Где Карауз?

«Я прогнала ее».

— Она не вернется?

«Вернется».

— И опять будет душить овец?

«Не знаю. Наверное, будет».

— И ничего нельзя изменить?

«Нет. Теперь уже ничего не изменишь, Поздно. Охо-

тяться на овец легче, чем на зайцев. Овцы не боятся собак. Не убегают».

— Они верят вам!

«Да. Верят. Мы так же верили людям».

— Мне пора.— Я встал.— Надо что-то делать, Буйнак. Это плохо кончится!

Теперь она смотрела на меня снизу вверх, и от этого взгляд ее казался еще жалобнее.

«Я попробую. Не осуждай ее... и нас не осуждай».

Я промолчал. Что я мог сказать?

«Ты больше не придешь?»

Я отвел глаза в сторону.

— Приду.

«Когда?»

— Не знаю. Может быть, завтра.

...Но я не пришел ни на другой день, ни на третий, ни через неделю. Возможно, больше не пошел бы к ним никогда — тень Сиротки разделяла нас, и я не мог, не смел переступить через нее. Я много думал о том, что произошло тогда в тугаях, старался осмыслить случившееся, мучился, не находя ответа, кто ж виноват в том, что между мною и Буйнак с ее дочерьми пролегла бездонная пропасть.

Однажды, возвращаясь из школы, я увидел, как на дорогу, которая вела к тугаям, свернули два пса. Сам еще не зная почему, я побежал за ними и скоро догнал их. Это были старшие сыновья Буйнак Сиртлан и Коктай. Куда они направлялись? Неужели к матери? Но откуда им известно, где она?

Не замечая меня, псы трусили по пыльной дороге. Я следовал за ними на некотором расстоянии и вскоре понял, что не ошибся: добежав до озера, Коктай и Сиртлан отыскивали нужную тропинку и скрылись в зарослях. Я подождал немного и пошел следом. Не выбираясь на открытое место, я из зарослей наблюдал за тем, что происходит на поляне.

Буйнак и ее сыновья стояли друг против друга и настороженно принюхивались. Потом она вильнула хвостом и, подойдя к Коктаю, потерлась мордой о его морду. То же повторилось с Сиртланом. Затем Буйнак вдруг отскочила назад и, продолжая вилять хвостом, побежала по кругу. Сыновья, словно маленькие щенята, с лаем и визгом бросились за ней в погоню, и началась веселая кутерьма.

У меня защемило в груди. Еще совсем недавно мы с Буйнак точно так же резвились на горных лужайках. Недавно? Как давно это было! Я почувствовал, что еще немного,— и я не выдержу, кинусь к ним и, забыв обо всем, присоединюсь к их игре.

Наверное, я бы так и сделал, но как раз в это мгновение мимо меня промелькнули три серые бесшумные тени и грозное рычанье разом положило конец веселой возне. Я выглянул из-за куста.

Посреди поляны, оцетинившись и угрожающе оскалив клыки, стояли Карауз и ее сестры. Коктай и Сиртлан на мгновение растерялись, но тотчас же яростно зарычали, и шерсть у них на загривках поднялась дыбом.

На Буйнак больно было смотреть: она как-то сразу сникла, и, низко опустив голову, понуро поплелась прочь.

Я со страхом ожидал, что собаки бросятся друг на друга и начнется грызня, но все кончилось мирно. Сиртлан с Коктаем, продолжая рычать, обошли стороной сестер и скрылись в зарослях.

«А ведь они родные,— с горечью подумал я.— Но еще чуть-чуть — и вцепились бы друг другу в горло».

И всю дорогу до дома я мучительно пытался придумать что-нибудь такое, чтобы Буйнак с дочерьми могла вернуться домой, пока наконец не понял, что стараюсь напрасно и ничего уже изменить нельзя. Буйнак еще, может быть, и вернулась бы, хотя тоже вряд ли: она обидчивая и предательства ни за что не простит. Ну, а те трое никогда не станут домашними собаками. Буйнак права, теперь уже ничего не изменишь.

Вечером отец пришел из конторы совхоза раздраженный и злой. Отказался от ужина. Снял со стены ружье, патронташ, достал коробку с патронами.

— Картечь где-то у нас была...

— Откуда я знаю? Картечь, картечь... Время овец в горы гнать, а он на охоту собирается,— заворчала мама.— Добро бы хоть охотник был, а то!.. Только пугать умеете.

— Что верно, то верно,— согласился отец, роясь на полке.— Душа у меня не лежит к охоте. А в этот раз, видимо, придется... Вот она где, оказывается.— Он открыл коробку, вынул из нее патроны и стал засовывать в патронташ.— Обнаглели волки. Шесть овец за две

недели, и все из нашей отары. Никогда такого не бывало. А у бухгалтера разговор короткий: не уберег — плати из своего кармана. Я ему и так объяснял, и этак, ничего слушать не хочет. Плати и все. Или волков сюда подавай. Тогда спишут.— Он налил в пиалу остывший чай, отхлебнул.— Собери поесть, чего-нибудь. Завтракать не буду, чуть свет в тугай пойду.

Я еле удержался, чтобы не закричать. Изо всех сил стискивал зубы, но меня так трясло, что зуб на зуб не попадал.

— Ты что это? — удивился отец.— Трясешься весь и лицо бледное. Иди, мать, посмотри, уж не заболел ли парень.

Мама потрогала мне лоб, заставила выпить чаю с медом, заботливо укутала одеялом.

Всю ночь я не сомкнул глаз. А едва забрезжило за окном, встал, тихонько оделся и выскользнул за дверь.

Я мчался по дороге, смутно белеющей в предрассветных сумерках, сам еще толком не зная, что буду делать. «Спасти...— билось у меня в голове.— Предупредить... Пусть уйдут куда-нибудь подальше...»

Уже возле самого озера, услышав, как где-то позади на дороге затарахтел, приближаясь, отцовский мотоцикл, я пригнулся и, обдирая лицо и руки о нависшие ветки, побежал по знакомой тропе.

Вот наконец и поляна. Я бросился к тому месту, где на камышовой подстилке обычно спала Буйнак, и остановился как вкопанный: собак не было!

Я обшарил всю поляну, окрестные заросли, звал вполголоса, чтобы не услышал отец. А в ушах раскатами грома отдавался грохот мотоциклетного мотора. Обессиленный, я опустился на землю и только тогда понял, что это стучит, пытаясь вырваться из грудной клеточки, мое сердце.

А вокруг было тихо. Где-то плескалась вода, как обычно шуршало и потрескивало в тугаях, птицы перекликались неуверенными со сна голосами. Озеро было бирюзово-синим, и небо над озером наливалось светлеющей с каждой минутой бездонной синевой.

Я поднялся и, не думая, куда и зачем иду, пошел вдоль берега, машинально обходя высокие кусты и деревья.

Заросли поредели и кончились. Впереди зеленел просторный выгон, подернутый легкой дымкой испарений, которая исчезнет с первыми же лучами солнца. На

выгоне паслась отара. Уже рассвело, но солнце еще не поднялось из-за дальних гор, и овцы казались просто темными точками, неторопливо передвигающимися с места на место. И навстречу мне шел, огибая отару, человек с палкой наперевес.

Из-за гор выглянул краешек солнца, в его лучах палка в руках человека сверкнула холодным металлическим блеском, и я вдруг понял, что человек этот — мой отец, и палка у него в руках — вовсе не палка, а ружье. И в то же мгновение я увидел, что впереди меня, на одной линии с отцом, крадется к отаре собака. И по тому, как она кралась, а не шла открыто, я понял, что это не сторожевой пес, и, все еще не веря, наугад громко позвал:

— Карауз!

Собака вздрогнула и оглянулась.

Отец вскинул ружье. Он не видел меня, не мог видеть, я стоял в тени.

— Беги, Карауз! — крикнул я, но было уже поздно. Отец выстрелил...

Карауз метнулась в заросли. А ты...

Ты еще стоял несколько мгновений, прежде чем упасть лицом вниз.

Захлопав крыльями, взмыли в небо потревоженные выстрелом птицы. Но они возвратятся на землю, а тебе не вернуться уже никогда.

Опираясь на руки, ты приподнялся, чтобы в последний раз взглянуть на небо, которое так любил, и увидел отца. Отшвырнув ружье, он бежал к тебе, широко раскрыв рот в безумном рыдающем вопле. Но ни голоса его, ни слов безысходной тоски и горя ты уже не услышал...

Я слышал их много раз. И одиннадцать лет спустя написал о тебе эту повесть. Я — твой старший брат, которого ты ждал когда-то из армии, но так и не смог дожждаться.